
АНТОН ЗАНЬКОВСКИЙ

ВЕТОШНИЦА

Роман

Эй, судари, а ну-ка к нам!
Сговорчивее нет торговли.
Таким приличным господам
Свой хлам продам я по дешевке.
Ни на каких торгах земли
Добра такого не найдете.
Все то, что тут лежит в пыли,
Обломки эти и лохмотья
Несчастье людям принесли.
Здесь все клинки от крови ржавы,
На рюмках — отпечатки губ
С остатками былой отравы,
Колечком каждым душегуб
Надругивался над невинной,
Здесь нет ни одного ножа,
Который не вонзили в спину
Из мести или грабежа.

И.-В. Гёте. Фауст

1

Когда ясным днем смотришь в небо, перед глазами плавают бесцветные червяки. Прозрачные мушки, пылинки в стеклянистой жидкости глаза, порой они соединяются в буквы, складываются в слова и предложения, загрязняя все видимое смыслом. И вот уже не сочинитель и не скриптер, но мухолов, собиратель зрительных изъязнов списывает книгу с засоренных небес.

Автор берется за дело в крымской степи на взморье в тот миг, когда его накрывает тень дельтапланериста. Если последнего зовут Барт, не миновать переломанной шеи творцу и читатель удовлетворится точкой. Но вот ползет уже какая-то

Антон Владиславович Заньковский родился 1988 году в Воронеже. В 2007 году переехал в Санкт-Петербург. С 2011-го по 2014 год публиковал эссе и научные статьи в журнале «Апокриф», сборниках материалов «Деконструкция», «Четвертая политическая теория» и «Acta eruditorum». В 2014 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Девкалион». Опубликовал две повести и роман в литературных журналах «Нева», «Опустошитель», в альманахе «Имажинэр».

НЕВА 7'2016

гусеница отпущения, волосатая весенница, слишком рано ожившая, ведь еще лакомый не вырос мак: семена его покоятся в земле, чтобы однажды взойти и зацвести, чтобы потом чья-то рука потрясла сухую коробочку, полную новых семян. Ангел в маковке — как пожар в коробке спичек. В одном красном цветке заключены солнце и полная тьма — не хуже той, что настагает жизнерадостную гусеницу, когда она, Аким-Простота, ползет вверх по склону. Тень уже повисла жирным восклицательным знаком над ее неумной головой — то Арсений или Марсель давит жертвенную гусеницу сандалией и бежит дальше — прочь из крымских степей, где не цветут еще опасные маки, где человек повис в воздухе на огромных летучих губах. А мокрый след, что остался от гусеницы, автор бережно собирает в футляр и несет заваривать вместо чая, рискуя отравиться насмерть.

Между прочим, быстроногий восьмилетний убийца, чья сандалия обрела пародийную меркуриальность, невоплощенную крылатость, пьет шен-пуэр из глиняной посуды — теперь, в конце перестройки, когда самые просвещенные соотечественники его давятся слоновьей уриной Индии да пылью грузинских дорог. Потому что дядя Линь всегда привозит пахучие блины, зеленые и коричневые, завернутые в прозрачную бумагу с красными печатями. Еще дядя Линь привозит прессованные грибы, которые разбухают в кипятке, превращаясь в черные резиновые уши, а также рисовую лапшу, пахучие палочки, красные фонарики, бронзовых божков счастья, лягушек с дырявыми монетами во рту; кроме того, взрывчатку на Новый год — красные бомбы салюта. Марсель привык уже, что желтый дядя Линь привозит все красное: красные полотенца со львами, похожими на пекинесов, красные одеяла с лошадьми-драконами, красные лакированные палочки для еды — с ними Арсений однажды пойдет в школу и прямо в столовой получит за них тумачков от одноклассников. «Марсик, ты хочешь, чтобы дядя Линь стал твоим папой?» — мамин вопрос всегда сбивал Арсения с толку, ведь журнальные картинки с мужчинами и женщинами, спаренными в разных позах, подтвердили ему, что сестрины рассказы об изысках взрослой жизни правдивы. Журнал с расхристанными телами рухнул Марселю прямо под ноги, когда он без толку слоны слонял возле дома, беседуя сам с собой: мама выпустила его погулять в обозримых окрестностях. А еще каждое лето в Коктебеле троюродная сестра преподавала Марселю уроки анатомии, как правило, за дальней скалой на склизких камнях. Хотя Марсель не видел своего отца, но знал от мамы, что тот сволочь. И в конце концов, как помыслить вторичное отцовство? — этого Марс не понимал, но боялся, что его вынудят забраться к маме в живот, где — так ему казалось — узко и нечем дышать; к тому же его пугало, что дядя Линь полностью запрет вентиляцию своей дубинкой.

Так получилось, что Марсель не знал родного отца, Бориса Феликсовича Мухранского, любителя выпить крепкого чифиря, а ведь кровный батюшка его вышел из больших дворян, принявших титул от Петра Великого за муштру темных мужиков. «Государь велел чай пивать, а ты, пес, все на печи шкуру греешь! А чай небось поскупился брать у купца столичного, хто давеча по станице ездил с заморскими товарами?» — «Никак нет, батюшка! Не было столичных купцов! Чай, были, да не по нашу честь!» — «Так получи же ты, паскуда, окаянный хрыч, десять плетей за то, что супротив указу государя инператора чая не хлебаешь да кофея не хлещешь, душа лисья, котов дух! Гнус паршивый! На те! На те! Куда побег, скот?! На те плетей! На те плетей! Где жена твоя, где дочери, смерд?! За все ответишь, харя!»

Вот так отличился предок Марселя, хороший дворянин Ростислав Мухранский: правя бородатую чернь, содрал он с иных по три шкуры на кожаные ремни, чтоб не того, не лихо-то супротив воли царя хрюкать репу да козье млеко жрать! У-у-у, поганое отребье!

Линь Цзэсюй родился в провинции Юньнань, так что с легкостью мог отличить Чхун Тучи от Да Цзин Дяня. Его отец работал на чайной фабрике, а мать и сестры страдали лунатизмом. Линь с детства много читал и прилежно занимался, поэтому его отправили учиться в СССР. Цзэсюй успешно окончил Воронежский государственный университет и захотел навсегда остаться в Союзе. Во время учебы он носил длинные волосы и черные рубахи, но потом остригся, слегка пополнил, а когда грянула перестройка, то и вовсе ушел в оптовую торговлю. Чаем в ту пору нельзя было прожить, так что Линь не пошел по родительским стопам и занялся поставками дешевого китайского тряпья. Он жил и работал в Москве, но часто навещался в гости к своей возлюбленной воронежской однокурснице — к маме. Дядя Линь приезжал с большими клетчатыми сумками и первым делом брался показывать красные гостинцы. Но больше всего Арсений ждал пластмассовых монстров, которые сыпались из сумки вместе с финиками, китайской лапшой и маринованным имбирем. В армии монстров Марса была и оранжевая обезьяна с биноклем вместо туловища, и самурай с панцирем жука и клешнею краба, и ярко-синий атлет с рыбьей головой, и черный поджарый скелет в нацистской фуражке, и другой, саблезубый скелет с отстежными крыльями летучей мыши и бензопилой вместо руки — такие игрушки можно было купить в любом ларьке любого города новой России. Мутанты Марселя квартировались в круглой железной коробке из-под клубничных конфет, и с ними сожительствовал золотой пузатый Хотей — он командовал армией монстров, если Марс выставял их на битву с солдатами, которые у него тоже имелись, но только Марсель их терпеть не мог и порой отламывал им головы, притворяясь, что это скелет отпилил их бензопилой. Во всех сражениях побеждали мутанты. И в детском саду, когда воспитательница спросила Марселя, кем он хочет стать, Арсений ответил: мутантом. После Хотей, который почти не участвовал в битвах и был скорее великим наблюдателем, превосходя других умом и размером, важнейшим в армии Арсения был зеленый четырехрукий мутант с хоботком комара и огромными сетчатыми глазами — этого Марсель берег и никогда не отправлял на передовую. Он даже скармливал комару мертвых солдат — тот высасывал из них кровь и душу, перелетая от трупа к трупу в конце побоища.

Однажды Марсель догадался, как победить скучную посредственность солдатиков: орудия закигалкой, он сплавил их друг с другом хребтами. Единственный железный солдат находился у Марселя в колбе, которую тот заполнил смесью воды, шампуня и уксуса; Арсений добавил в смесь активированного угля, марганцовки, соли, хотел соскрести туда серу со спичек, но мама пригрозила все вылить в унитаз, если он не уймется. Несмотря на такие препятствия в ходе эксперимента, Марсель ожидал, что солдат в скором времени превратится в мутанта. В дальнейшем он планировал химическим путем преобразить всех неинтересных, серых солдат в отличных монстров, а затем устроить им войну с настоящими мутантами, причем Марсель знал заранее, что превращенные должны проиграть и пойти комару в пищу.

Но однажды его планам пришел конец. Как-то раз Арсений гулял с мамой: они часто отправлялись в путешествие к заводской трубе, которую Марсель наблюдал из окна пятнадцатого этажа, он всегда мечтал подойти к ней поближе, но труба оставалась недосыгаемой. В этот раз по дороге к трубе они сделали привал на детской площадке. Пока мама курила поодаль, Марсель нашел другую трубу, маленькую, не выше детского плеча, — эта узкая труба торчала из земли возле железной горки, негодной для ската, потому что у подножия ее возникла глубокая черная лужа. Марсель заинтересовался трубой и посадил на ее край четырехрукого комара, которого всегда брал с собой на прогулку, ведь можно было встретить почившего голубя, мертвую кошку или дохлую крысу, и ничего, что мама не разреша-

ет подходить к ним, ведь комар умеет высасывать душу на расстоянии, стоит только вытащить его из кармана и направить хоботком в сторону тела. Кстати говоря, и в детском садике Марсель изредка подсасывал комаром души глупых, грубых девочек. Теперь комар сидел на трубе, гордо запрокинув длинноносую голову. Марсель восхищался им, и вдруг ему показалось, что комар удержится на краю самостоятельно, — так дерзко он глядел в мир с высоты трубы. Секундой позже Арсений раскаялся в своей беспечности, но было уже поздно: мутант запал внутрь. Сначала Марсель просто похолодел от ужаса, побледнел, что-то замерло в его груди, а потом вырвалось безудержным воплем. Как ни пыталась мама, она не могла утешить Марселя в его горе, и не было способа достать комара. Мальчик выль и тянул ручки к трубе, исчезающей вдаль, и сквозь горькие брызги слез, в размытой и разбитой картинке зримого он видел, как ехидная старуха, обвешанная сумками, подходит к трубе, заглядывает в нее и злобно смеется вслед Марселю.

2

На другой день мальчик заболел, у него подскочила температура, начался плеврит. Спустя неделю, вслед за читателем, Арсений скончался. Но какие бы китайские пытки ни применял автор, книга не покраснеет от стыда, она останется зеленой, так что, поскользнувшись на ее ирландской обложке, ты полетишь вниз головой в колодец святого Патрика, не успев прихватить с собой даже бутылочку эля.

Два дня он пролежал в лихорадке. Мама вызвала врача, безразличную женщину в тяжелых очках и с рыжей завивкой; она шекотно послушала Арсению грудь и спину, прикладывая железную штуку, с помощью которой, как он решил, можно незаметно высасывать душу, и прописала сладкий сироп да горькие пилюли. Ночью Марсель проснулся оттого, что нечем было дышать: воздух входил в грудь со страшным хрипом и с мучительным свистом выходил обратно. Мама испугалась и вызвала «скорую помощь». Хлорированный звон больничной приемной: взяли кровь, сделали укол и положили спать в полутемном коридоре, потому что в палатах не нашлось мест. В детской кроватке с высокими бортами Арсению было тесно, из окна сквозило, и мама волновалась. После укола Марселю стало легче, он разглядывал стенгазету: «СПИД: вирус, передающийся половым путем», рядом был нарисован злой шприц в пиратской треуголке и черное треснутое сердце. Чтобы разглядеть другой плакат, Марселю приходилось привставать в кровати, чему противилась мама: «Не раскрывайся, здесь дует!» Утром, когда его разбудили уколом, Марсель увидел, что там был нарисован беременный крокодил наше солнце проглотил.

Его определили в палату, где лежала только одна приличная девочка, которой Марселя сразу представили. Остальное общество никуда не годилось: всё малолетние да сонные, не отлипавшие от матерей дети, плаксы; они, как показалось Марсу, даже толком говорить не научились. Семилетнюю барышню звали Юлей, она собирала колпачки от шприцевых иголок. Марсель тоже стал собирать эти колпачки, и хотя он начал позже, уколы ему делали чаще, так что их коллекции скоро сравнялись. Однажды Арсений случайно вставил один колпачок в другой, а потом еще один и еще — так у него получилась шпага. Юля позавидовала его изобретению и даже укусила Арсения со злости, а тот заколол ее в ответ своей шпагой. Юля и Марсель стали ежедневно фехтовать. Во время этих занятий каждый старался не ранить противника, но сломать его шпагу, отбить как можно больше колпачков,

так чтобы в итоге в его руке остался один колпачок-эфес. С каждым уколом шпаци росли, потому что добрые медсестры всегда отдавали детям использованные колпачки от иголок, но вдруг Юлю выписали. Арсений попробовал фехтовать с другими большими детьми, но те падали и плакали. Так что Марселю пришлось пересмотреть природу колпачков и строить всего-навсего длинную башню. Она достигла бы потолка, но ему перестали колоть антибиотики, а потом и вовсе отпустили домой не хотел возвращаться.

За то, что он выздоровел, Машмет подарил Марселю бензиновую зажигалку, желтую, одиннадцатую в его коллекции. Арсений очень любил запах паленого фитиля и ваты, смоченной очищенным бензином, еще ему нравился щелчок, с которым откидывалась крышка зажигалки, причем у дорогих зажигалок этот щелчок был особенно изящным. Первую бензиновую зажигалку Машмет подарил маме, но ей эта штукавиона показалась грубой, мужской, так что она передарила ее сыну. В другой раз Машмет принес еще одну, позабыв, что подобный подарок уже был отвергнут. «Машмет, я тебе говорила, что не люблю такие зажигалки? Говорила? Какого же черта ты мне снова ее принес?» — пожурила его мама. Тогда Машмет стал приносить бензиновые зажигалки Марселю. Но еще раньше Арсений собрал тридцать газовых зажигалок, попользованных мамой для курения.

— Я курю, Марсель. Выйди из кухни, не дыши дымом. Тебе вредно.

— А тебе не вредно?

— Я уже двадцать лет курю.

Марсель не понимал, почему двадцать лет курить не вредно. А Машмет, когда приходил, каждый раз говорил ему: «Не кури! Никогда не начинай. Лучше пей, но не кури. Я никогда в жизни не курил». А мама говорила: «Нет уж! Пить тоже лучше не надо, а то будешь алкоголиком, как Машмет. А если станешь колоться, то я тебя из дома на помойку выброшу». Восемилетний Марсель знал, что колотятся сосед Леша и Чирик с пятого этажа, сын маминой приятельницы Людья, которая торгует водкой. Еще как-то раз пластинка проигрывателя заиклилась на фразе: «„Мне бы тоже хотелось порисовать у колодца“, — сказала Алиса. „Порисовать и уколоться?“ — спросил Мартовский Заяц»; иголка никак не могла войти в следующую виниловую колею и все повторяла: колоться, колоться, колоться, колоться, пока мама не помогла ей соскочить, соскочить, соскочить.

Машмет любил повторять: «Дети — это цветы жизни»; он приносил Марселю лучших мутантов, потому что не просто покупал ребенку первую попавшуюся игрушку в ларьке, но выбирал самых страшных уродов. Мама знала Машмета сто лет, с университета, и часто приглашала его в гости, хотя ей не нравились его манеры, например, этот кошмарный обычай Машмета носить сразу пять пар носков: он пользовался тем, что дырки образовывались в разных носочных областях, — это позволяло ногам блюсти целомудренную скрытость. Именно Машмет когда-то подарил маме томик Пруста, благодаря которому Арсения прозвали Марселем. Первое имя дал ему отец, поэтому мама не любила так называть сына и нарекла его в честь книжного героя. Еще Машмет время от времени дарил художественные альбомы: Босха, Мунка, Гойю и других.

Машмет приходил с большой бутылкой пива и разговорами о советском прошлом: походах, байдарках, Ленинграде, о друзьях и книгах; от разговоров веяло солнцем, легкостью, свободой и перегаром.

Часто, когда мама прикладывалась, она хотела играть в «Сталкера». Это была игра по мотивам одноименной картины Тарковского. В большой комнате гасили свет, по полу разбрасывали подушки, валики, сдвигали с привычных мест кресла и журнальный столик. Свет из прихожей освещал комнату совсем неярко. Теперь,

ползая на карачках, надо было внимательно всматриваться в предметы, в темные углы, чтобы найти «ловушки». Как правило, такую обнаруживали в каком-нибудь теневом пятне на паласе. Тогда мама визжала: «Стой!», и все переставали ползать в лабиринте комнаты, срочно замирали, каждый на своем месте. Проверять «ловушку» обычно отправляли Машмета, и тот запускал в подозрительное место карманной отверткой или опустевшей бутылкой, но не успевал отскочить и каждый раз был смертельно ранен или облучен. «Все, дружок, ты убит! — кричала мама. — Ты подошел к ловушке слишком близко. Ты труп. Зона не пропустила тебя!» Машмет падал навзничь и трепыхался.

Потом, когда появлялась водка, начиналась другая игра: Марсель пытались уложить спать, и для этого Машмет рассказывал ему сказку, например, о приключениях зажигалки, которую нечаянно с головой окунули в бензин, что наделило ее необычными способностями, как то: мыслить, ходить и сражаться. «...И вдруг неподалеку от Холлс-стрит она встречает сановитого, жирного Быка Маллигана. Подошел он к ней и говорит: да я и сам, говорит, гипербореец не хуже тебя», — повествовал Машмет. Марсель притворялся, что спит, убаюканный сказкой, но потом вставал и всячески пытался выкрасть водку и вылить ее в унитаз. И все же рано или поздно его заставляли уснуть, подкупая обещаниями. Но вскоре Марсель будили водочные крики мамы, которая все больше возбуждалась от спиртного: хлопала дверьми, кричала на Машмета и даже порой лупила его, когда тот засыпал на полу, свернувшись калачиком. Если Машмета не удавалось разбудить, мама уходила в свою комнату и принималась твердить: «Жаме, жаме, жаме», рыдая по-французски, а потом начинала хрипеть, изображая предсмертное удушье. Марсель прибегал к ней, и мама, недобро взглянув на сына, обдавала его спиртовым дыханием и говорила сквозь слезы: «Ты знаешь, я решила, что больше не буду жить. Мне все это надоело. Я постараюсь просто не дышать, а если не получится, то наглотаюсь таблеток или вскрою себе вены. Так что привыкай жить без меня». Марсель плакал и отбирал у мамы нож, который она любила класть на табуретку возле кровати. Потом Арсений бежал на кухню, чтобы позвать на помощь Машмета, но тот мирно спал на коврик или ползал со спущенными штанами в собственной луже, если не мог добраться до туалета; при этом он бормотал: «Сволочи! Вот сволочи!» Однажды Марсель застал Машмета, когда тот испражнялся среди кухни.

3

Читатель! Не ходи пить кофе: в белой твоей вульгарной кружке плавает Марсель; Марсель кровавым пятнышком багрянит твою глазунью; Марсель надел фрак, чтобы подгарком очернить твой жареный хлеб.

Одно из трех яиц лопается в кипятке, из трещины разматывается скомканный бинт белка, он пляшет в пузырьках, затем отрывается, всплывает на поверхность и смешивается с пеной.

Железная призма на четырех ножках и с дымным носиком отражает одно из двух разнорасовых яиц, а граненый стакан с уже холодным пуэром стоит чуть ниже. Спичек нет на этом столе, но есть бензиновая зажигалка, пока еще нет букета, зато Марсель сидит за столом в коричневой рубашке, растрепанный, как Жучка.

Теперь он бежит к входной двери, перепрыгнув затоптыш линолеума, потому что услышал, как на этаже открылся лифт. Арсений отпирает дверь, когда мама только достает ключи: «Ты что, под дверью стоял?» Мама ставит продуктовый пакет с женским лицом на пол, Марсель извлекает продукты: кефир в стеклянной

бутылке, круглый черный хлеб, похожий на потрескавшуюся пятку великана, десяток белых яиц с голубыми отпечатками «С-1», лиловое плодово-ягодное мороженое в бумажном стаканчике. Пока внутренность мешка выходит наружу, сам пакет теряет форму, от чего кульковая тетя переменяется: раздутое лицо женщины покрывается складками, затем проваливается нос, так что глаза смотрят друг на друга, но бордовые губы продолжают тянуть улыбку, прорезанную поперек мощной складкой. «Ужас! — говорит мама, заметив, что Марсель подозрительно рассматривает плоские корчи кульковой. — Не хотела бы я, чтобы мое лицо вот так на пакеты лепили».

Вечером мама снова пришла — с охапкой черемухи: нарочно дождалась темноты, чтобы наломать ее, цветущую, в соседнем дворе. Она приносила черемуху каждый год, и тогда начинались дни ароматной головной боли. В черемуховую неделю было прохладно, потому что мама часто раскрывала настежь двери лоджий.

На первой лоджии стояла тахта, где в теплое время года стелили Машмету, когда он оставался на ночь. На второй лоджии ласточки сделали гнездо и сразу вымерли, здесь хранили старые тряпки. Третью лоджию не застеклили, она, отделенная неполной перегородкой, плавно переходила в лоджию соседки, и чужой кот ходил в гости к Марселю. На третьей лоджии в полу имелся люк, чтобы «спастись от пожара, если будем гореть», — объяснила мама, надевая коричневый джемпер. Запутавшись в рукавах, она стала на миг безголовым монстром, мешковатой извивной чепухой, но вскоре выявилась снова ее милая русая голова, и джемпер покорился форме тела.

На третьей лоджии Марсель играл с магнитофонной лентой: брался за кончик и запускал по ветру всю катушку, на километр вдаль — неслышную магнитную мелодию, и та разворачивалась змеем, извивным хвостом; в пространстве между трех высоток появлялась подвижная фигура, лабиринт воздушного пути, фрактал. Над пирамидальными тополями, детским садом, скамейками, качелями, автомобилями в воздухе плавно двигалось сплетение и мало-помалу обматывало дерево, в худшем случае антенну, или залетало в чужое окно. «Я хочу сходить вон туда, — говорил Арсений маме, указывая пальцем в городскую даль, где были разбросаны кубики домов, иглы труб и виселицы подъемных кранов. — Давай туда ходим когда-нибудь?» — «Когда-нибудь! Когда-нибудь!» — повторял синий попугай Гриша, опасно гулявший по столу возле зажженной плиты. Его купила мама, чтобы Марселю не было скучно без братика.

«Марсель, принеси книжку из комнаты. Там в шкафу. Разберешься. Она выдвинута», — как-то раз мама решила зачитать Марселю отрывок из любимого рассказа, потому что полагала, что детей надо приучать к взрослой литературе. Марсель рысью побежал в комнату, перепрыгнул затоптыш линолеума, двинул холодильник, очутился у шкафа стеклянные створки. «Весна в Фиальте»: на обложке был нарисован алый сапожок, отороченный мехом, из которого выглядывала женская голова в черном клоше. Вес Ди На Дим Ир Фи Вла Аль Те: Арсений уже знал слоги. Влади-мир-на-бок-ов-вес-на. Стеклопанной хлоп створкой, очутился, двинул холодильник, линолеума затоптыш, перепрыгнул не в комнату, а в кухню. Мама, что такое фиальт? Осторожно! Марсель, ты наступил!.. Нет, нет, выйди отсюда! О, Господи! Бедный, бедный Гриша! Выйди, не смотри! Нет, Марсель, не фиальт, а Фиальта. Это не сапоги, а город. Не плачь, ты же нечаянно. Мы его похороним в каштановой рощице и крестик, если хочешь, поставим.

Мама стояла на первой лоджии, когда из окна соседнего дома выпал мужчина, она стояла на второй лоджии, когда из окна соседнего дома выпала женщина, она стояла на третьей лоджии, когда с крыши ее дома прыгнули двое, мужчина и женщина. Они целовались в полете, но юбка женщины задралась, скрыв лица, так что мама

этого не видела, она смогла рассмотреть только вздернувшиеся брючины да ляжки в чулках; одна туфля тридцать шестого размера слетела прямо в руку маме, и та стряхнула в нее сигаретный пепел. На второй лоджии частью осыпалась краска и возникла проплешина в форме морского конька. Это движение вниз: из точки А в точку В, от мамы — к темной луже и грудке мяса на асфальте. Пятнадцать этажей вниз, так что привыкай жить без меня. Марсель знал, что мама тоже хочет прыгнуть.

— Говорят, самый легкий способ — вскрыть вены в горячей ванной. Ты сделал уроки? Уходи с кухни, я курю, не дыши дымом, завтра в школу, горячие уроки, вскрыть ванну, вены говорят!

— А ты не станешь выпрыгивать?

— Ладно, сегодня не буду, — отвечала мама, захлебываясь теплым водочным смехом.

На всякий случай Марсель делал уроки на полу возле кухонной двери, напротив туалета, чтобы успеть спасти маму, если придет к ней прыг-скок.

Марсель внимательно вглядывался в мамину фактуру. Все отчетливей, все резче в складках ее джемпера проступало иное лицо — вторая мама: старая злая жаба, присосавшаяся к маме с правого боку, где печень; жаба сосала маму, поела ее черемуху, ее Тарковского. Арсений не мог уже понять, где кончается жаба и начинается мама, где начинается жаба и кончается мама. От этого у него на сердце было моркотно. И как-то раз Марс пошел к зеркалу, чтобы посмотреть, откуда берутся слезы, но глаза уже высохли. Арс отогнул нижние веки и, различив крохотные дырки, перепугался, что в глазах завелись червяки; он даже заплакал с испугу, но тотчас рассмеялся, поняв назначение этих дыр. Больше всего Арсений любил глядеть в мутные и неясные зеркала и нередко всматривался в черный экран сломанного телевизора, который больше не корчил всезнайку.

Телевизор однажды насмерть sprыснули водой из хрустальной цветочной вазы. Это случилось в тот день, когда мы вернулись с подснежными цветами из лесу: Марсель, мама, Машмет и я, писатель с плюшевой пишущей машинкой, неслышный и невидимый печатник. За месяц до поливки телевизора Машмет потерял в лесу лыжное крепление и решил, что будет искать его, когда снег сойдет. Вместо крепления нашли много цветов; Марсель сыскал железную обезьянку. Набрали большие охапки синих подснежников из Красной книги, заговорив преступление весной; Машмет с мамой взяли в киоске немного красного вина, пиво, водку и воблю. Ночью, когда Марсель уже спал с обезьяной, положив ее в очечный футляр покойной бабушки и под подушку, раздался бах и жалостно взвизгнула мама. С тех пор телевизор показывал тьму, а Машмет долго не приходил, потому что его по маминной просьбе избил сосед Чирик.

4

Обернись, читатель! В правом углу комнаты/неба/вагона/салона/в любом, наконец, углу можешь разглядеть Марсея: вон там, в затемненном покое, где паутина/облака/штукатурка, — там затаился и дышит, облокотившись на сохлую муху, наш герой.

Главные звуки его детства, кроме виниловых сказок и коктебельских кукух: дребезг старого холодильника, который самостоятельно включался и выключался, пугая маминых гостей inferнальным стоном; удары лифта о стены шахты (и вскрики перепуганных пассажиров); наконец, бранный бас Костыля, соседа сверху, — он так сквернословил, что слышно было на три этажа, и поколачивал супругу,

которая визжала и звала на помощь; еще Костыль держал птиц, так что все это сопровождалось трелями. От Костыля всегда несло мочой и рвотой, а супруга его опухла и побагровела от побоев и водки; он получил свое прозвище за то, что всегда опирался на одноименный предмет. Некоторое время он сидел в тюрьме, а когда освободился, то сам себе переломал ноги, чтобы получить пособие по инвалидности. Мама учила Марселя не обращать внимания на скверные вопли и объясняла сыну, что наверху живут свиньи, жизнь которых надо принять как неизбежность, как мусор на улице и плохую погоду. Сначала мама советовала затыкать уши, но потом признала в Арсении зрелую личность, способную отличать людей от животных: «Ты у меня уже почти взрослый, так что сам думай, как тебе жить дальше. Хочешь быть свиньей, будь, только подальше от меня. А станешь наркоманом, выброшу тебя на помойку». Но в том-то и была загвоздка, что уже в детском садике Арсений наблюдал вокруг себя одних только свиней: мальчики и девочки говорили скверные слова, пережевывали пищу, не закрывая рта, и чихали друг другу в лицо. Они были такими невежами, что даже воспитательница грозила им: «Будете класть локти на стол, прибью их к столу гвоздями!» Одна девочка сначала понравилась ему — это была светловолосая кокетка с бантом, но когда он подкараулил ее в туалете и вежливо попросил поднять юбку и снять трусики — он еще раз хотел сравнить явь с журнальными картинками, — то девочка показала ему средний палец, пустила шептуна и убежала. Не чета его троюродной сестре Нине, которая все снимала, раздвигала и давала потрогать, по команде поворачиваясь то передом, то задом. Вскоре Марсель понял, что его окружают чудовища, притворившиеся детьми, он даже проверил, на месте ли серые солдаты, — вдруг это они все превратились в детей-мутантов. А насчет Костыля Арсений был уверен: под рубашкой у него спрятана клешня; была некая внутренняя связь между Костылем и жуком-самураем: Арсений знал, что если сломать жука, то и Костыль умрет.

Каждое утро Арсений прятался в шкаф от мамы, чтобы не ходить в сад. Это был скорее показной протест, чем наивные прятки. В садике он по многу часов сидел на стульчике, погрузившись в тревожные созерцания, не желая вливаться в беготню других детей. В обед он ничего не ел, но отодвигал тарелку и хмуро всматривался в прекрасный красный борщ. Во время тихого часа не прыгал, не дрался подушками, но и не засыпал потом, как все, а лежал три часа, глядя в окно, которое было как раз тут, напротив койки Марселя. Четырехместные двухэтажные кровати: Арсений лежал на втором этаже, запутавшись в белье, с которым никак не умел справиться. Он кувыркался в простыне, боялся ее синей надписи «ноги», никак не мог засунуть в пододеяльник колючий плед и вообще был ошарашен казарменным духом сада, где приходилось все делать самому. Воспитательницы запрещали засыпать лицом друг к другу, но Марселю и так не нравилась лежавшая рядом брюнетка, недобрая девочка, за окном было интересней: бегучие псы, ходячие тети, дети на велосипедах — счастливые свободой.

Первые три класса школы Марсель гадал, начнут ли дети преобразаться в подлинных мутантов. Может быть, прямо на уроке, когда Людмила Викторовна станет чертить на доске треугольник? Поворачивается — вместо класса инсектарий, щупальца да клешни. Школьники были не лучше детсадовцев: мальчики слевывали на землю и сморкались друг в друга, их физиономии напоминали картофель. И все они подличали: после драки нападали со спины, били девочек ногами в живот, всем классом избивали сильных. К девяти годам у них появились уголовные манеры, перенятые у криминальных родственников: ребята бомбили фраеров, лапали центровых шарм и разводили на деньги лохов, мальчики забивали стрелки, путали рамсы, кайфовали, жили по понятиям; на перемене, поймав девчонку-выскочку-

гордячку, они склоняли ее грудь на парту и, задрвав юбку, имели понарошку в порядке очереди. Вырвавшись, девочка осыпала одноклассников сапожной бранью, но улыбалась. Значит, эти девочки тоже свиньи — решил Арсений. Драться приходилось редко, потому что с Марселем старались не связываться: если ему удавалось обрушить противника на пол с помощью ловкой подножки, он тотчас прыгал на поверженного драчуна и, вынув из штанов свою пипетку, старался обмочить бедняге лицо. Кроме того, имея хорошие оценки по математике, Арсений делал вид, что не замечает, как у него списывают домашние задания и контрольные работы. Но так продолжалось недолго. Ему все реже удавалось откупиться, потому что успеваемость его падала. Преподаватели жаловались маме, что Марсель стал каким-то невнимательным: «Он у вас в облаках витает», — говорили учителя. «Ты что, ворон считаешь на уроке?» — ругалась мама. Когда его спрашивали, любит ли он ходить в школу, Арсений отвечал утвердительно, при этом вспоминая свои отрешенные созерцания, какую-нибудь блестящую пуговицу старого учительского жакета. Он по-прежнему говорил, что любит математику, но не мог объяснить, почему стал получать плохие отметки. Об уравнениях и задачах Арсений узнал много нового, правда, ему больше не хотелось их решать — важнее было понять, что происходит, когда мокрая тряпка стирает иксы, игреки, цифры и буквы. Даже не понять, но всмотреться еще лучше: белая линия прерывается, мокрая полоса поедает тяжелые знаки. Он стал вызываться мыть тряпки, вытеснив с должности Элю. Споласкивая в раковине серый кусок материи, он видел, как изливаются в трубу только что решенные задачи, и представлял, что под зданием школы есть озеро математики, где вместо рыб водятся синусы и биссектрисы.

В таком состоянии было трудно держать удар, к тому же своим отрешенно-довольным видом Арсений обращал на себя внимание, так что одноклассники стали все чаще нападать на него всем стадом и давить в углу, а преподаватели оставлять после уроков на продленку. Однажды, очутившись в углу, он еще раз изо всех сил дернул за волосы Шептунова, который давил его, будучи раздавленным, и, сжимая в руке жесткий клок почти конской гривы, Арсений провалился в стену, как личинка в чернозем. Внутри казалось необъятно — здесь не было пространства, ширины, длины и высоты; лишь Ночь и Хаос, пращурь Природы, вели тут вечный спор; лишь атомы клубились в пустоте. Арсений повалился в кутерьму, но был выплюнут — кем? чем? куда? — в каштановый лес, где на деревьях отдыхали блаженные прогульщики.

Обремененный синим ранцем, наполненным воспаленной пульсирующей совестью, Арсений стал прогуливать школу. Чтобы с пользой провести урочное время, он ходил через три квартала к продуктовому рынку, где покупал себе в тайном киоске жевательную резину с девушками. Киоск этот Марсель открыл случайно, когда ходил с Машметом за очередной зажигалкой. Трясущимися руками Арсений разворачивал фантик и доставал наклейку с фотографией, а резину выкидывал, потому что по радио узнал о вреде жвачек. Поход за наклейкой был двойным преступлением, ведь мама не разрешала ему без взрослых переходить большие дороги, а Марсель перебегал целых три, пока добирался до рынка. Что рынок? Потом он шел на пустырь, за Институт искусств, забредал на птичий базар и дальше — в частный сектор больших приключений; однажды Марсель, треанарфемская его душа, самостоятельно, без мамы дошел до Трубы, и та показалась ему скучной! Обнаженных девушек он приклеивал на потолок своей тахты, когда возвращался домой. Забравшись под нее, он стягивал покрывало к полу, чтобы мама не увидела, как он, подсвечивая фонариком, всматривается в розовые, бежевые и коричневые тайности женщин. Тахта была низкая, так что Арсений почти упирался в картинку носом, и трудно было сфокусировать глаза. Среди двух десятков женщин

Марс выделил трех лучших, которым уделял больше всего внимания. Здесь же, под кроватью, он хранил, заложив коробкой со старыми игрушками (кубиками и суккубиками), коллекцию фишек, на которых зачастую были изображены, конечно же, монстры, мутанты, порой голографические. У Марселя и тут имелось любимое существо — какая-то вырванная, окровавленная челюсть на курьих ножках и в зеленых потеках гноя. Под другим углом зрения картинка частью переменялась: челюсть выпячивала огромные зубы, расползаясь в улыбке гниющего Чеширского Кота. На этого урода Арсений никогда не играл, жалея его для себя. Фишки продавались повсеместно, и все ровесники Марселя играли на переменах и после школы в несложную игру: надо было так стукнуть фишками об пол, чтобы они перевернулись лицом вверх. У Марселя хорошо получалось, он обыгрывал одноклассников и даже ребят постарше и так со временем всех разорил и разозлил. Однажды, когда Марсель в очередной раз удачно ударил оземь стопкой фишек и все они разом перевернулись, мальчики набросились на него, побили его и забрали выигрыш. Не на шутку осерчав, Марсель на другой день принес в школу все свои фишки, а было у него их около трехсот. На большой перемене он принялся расшвыривать их по коридору, с удовольствием наблюдая, как мальчики и девочки дерутся и ползают по полу на карачках, подбирая фишки. Правда, потом его за это снова отлупили, после чего Арсений стал прогуливать уроки постоянно.

Кроме гниющей челюсти на курьих ножках, Марсель пожалел и сохранил особенные фишки: с девушками в белых купальниках, которые исчезали, обнажая сокровенное, стоило их поклонить, а затем, высыхая, появлялись вновь. Марсель помнил, что с интересными морскими камнями происходит нечто похожее, когда их подсушивает солнце.

А на какие же средства, спрашивается, покупал Марсель все эти непотребные картинки? Разве так много карманных денег давала ему мама? Нет, она давала не так уж и много, но зато на первое сентября подарила ему все порошковые бутылки, которых тьма скопилась на лоджиях: на первой стояли зеленые бутылки, на второй — коричневые, а на третьей не стояли, ибо оттуда их могла покрасть соседка. Марсель стал суверенным владельцем этого наследного богатства, но лишь изредка он относил часть стеклотары сборщикам, а потом благоразумно дожидался пополнения.

Маги стеклотары (*allegro assai*)

Блестящие емкости, радости бедняка, своими горлышками вы касались губ нежных юниц, шипучая влага текла из ваших недр в нецелованные уста, уже приговоренные к растлению. Прежде чем войти в любимых женщин, мальчики просовывали розовые язычки в ваши отверстия.

Пивная бутылка, одна бесстыдная дама призналась мне, что ты была первой: ты опередила меня, как Колумб опередил Америго Веспуччи, ты стала сосудом целомудрия, реликвией девства. Теперь ты стоишь рядом с бюстом Байрона, украшенная нитью жемчуга и золотой пробкой. Бесстыдница наполнила тебя драгоценным вином и порой достает с полки, чтобы попотчевать избранных.

Сборщики стеклотары относят бутылки городским волшебникам. Кудесники пивных поцелуев соскабливают запахи нежных касаний, собирают крошки девичьей помады, слюну мальчишеского сладострастия; маги стеклотары создают изысканные сны, сплавляя в ретортах дыхания.

* * *

Порой все эти картинки вызывали у него отвращение, из-за них Марсель считал себя законченным грешником и был уверен, что попадет в ад. Он даже просил

прощения у Бога и как-то раз попытался соскрести с потолка тахты всех женщин, но от наклеек остались белые пятна, словно метки греха. К тому же кое-где картинки сходили не полностью, и по отдельным, весьма откровенным обрывкам женских тел, можно было понять их нескромную суть. Содрал то, что сдиралось, Марсель бросил клейкие клочки, прилипавшие оторванными гениталиями, грудями и бедрами к пальцам, в пакет с фишками, которые вызывали у него еще большее омерзение, потому что здесь женщины были перепачканы слюной прошлых владельцев, обыгранных Марселем; Арсений пошел с пакетом на лоджию и рассеял его содержимое по ветру. Девушки разлетелись в разные стороны: чей-то липкий живот повис на фасаде высотного дома, чья-то левая бронзовая нога полетела в зенит, а правая — долу. Одна фишка упала в воронье гнездо, другая под ноги какой-то старухи, которая подобрала находку и, недобро ухмыляясь, положила в сумку. Наклейка с грудастой мулаткой залепила глаза летящему стрижу, и птица врезалась в окно десятого этажа: стеклянные гренки посыпались в гороховый суп как раз в тот миг, когда женщина вскочила из-за стола, чтобы влепить мужу пощечину, и тотчас тостер выплюнул хлебец с выжженным словом «game!».

5

Марсель гуляет во дворе. Ему светло и грустно бродить одному, перешагивать через спящих собак, следить за пенопластовой лодочкой в ручье, бормотать непонятное, делить ладонью надвое большие дома, пересчитывать кирпичи стены, вконец доканывать скрипучие качели. Вот полуживая ворона барахтается в апрельской агонии, докуривает папиросу жизни, моргая пуговицами. Марсель склоняется над ней, бормоча отходную — смесь прогорклых слов, накипь газетных заголовков, лифтовых надписей, рекламных воззваний. Перед тем как выдохнуть жизнь без остатка, ворона покрепче затягивается папиросой и говорит читателю: «Немедленно переверни книгу вверх ногами, поднеси ее к зеркалу и посмотри на буквы, если хочешь прожить девяносто восемь лет!»

Возвращаясь домой из школы — а жил он совсем близко, надо было только пройти через воронью рощицу, где выгуливали собак, и пересечь небольшую дорожку, — Марсель загадывал: если он настигнет шагающего впереди человека раньше, чем тот дойдет, например, до первого столба, то мама сегодня не перережет себе вены. Приходилось ускорять шаг.

Однажды Марсель вернулся домой с большого прогула и встретил на кухне, у себя дома... Костыля. «Здорово, Сеня!» — сказал сосед. А зачем же мы, мама, мама, утром первого января клеили этим свиньям на двери — наступил год деревянной свиньи, дядя Линь приехал к нам в гости на праздник, но быстро уснул под грохотки салюта и гнусавый говорок правящего поросенка — зачем, говорю я, лепили соседям над дверным звонком записки: «С Новым годом, свиньи!», а?

Может быть, если мама пустила в дом свинью, то, вероятно, Марсель тоже, наверное, мог бы позволить себе что-то подобное, близкое, родственное, сходственное. Например, найти компанию для вместошкольных прогулок.

Однажды Марс, устав бродить взад-вперед по двору в чужом квартале, присел на скамейку, чтобы снять груз тяжелого ранца и глотнуть пуэра из термоса, который всегда был при нем. Какой-то парень околачивался здесь же, лузгая семечки; впрочем, знакомый с лица, Арсений его видел — этот двоечник и хулиган учился в классе коррекции, носил бессменную олимпийку и сальные трико, рвал глотку на

переменах да заливался визгливым хохотом, а порой ходил мрачнее тучи, задумчиво шелкая семечки. Теперь он подошел к Арсению и серьезно спросил, нахмурившись:

— Ты чего здесь сидишь? Я тебя в школе видел, ты в одном классе с Шептуном учишься, да?

— Да.

— Балда. Тебя Леха Горбатый выпотрошит, если здесь одного встретит, понял? Уроки прогуливаешь?

Так Марсель нашел себе спутника. Что за фамилия чертова? — мальчика звали Тюн, как и его отца, отсидевшего два года в тюрьме, — об этом Арсу не без гордости рассказал новый знакомец. Они сходили к ларькам, где Тюн купил две сигареты и предложил закурить Марселью, но тот отказался. На школьном стадионе ребята встретили чумазых ободранных детей лет восьми: Комара, Червя и Шалаёнка, которые предложили залезть в подвал пятиэтажки.

Мусорные мальчики, спрятав мертвое тело читателя, вылезают из подвала, раскрашенного, как торс японского головореза, и бегут по двору вслед за ошалелой крысой, вопя «А-та-та!». Рычат и визжат «А-та-та!», швыряют камнями в животное, падают, разбивают ладошки в кровь и снова бегут — бах! — крыса высоко подпрыгивает от удара, но продолжает бег, оставляя за собой кровавый пунктир. «А-та-та!» — бах! — крыса пищит и летит кувырком через поребрик. Бах! — в крысу попадает большой кусок кирпича — бах! — отрывается голова, но лапки еще копошатся в воздухе. «Не бейте ее!» — кричит Марсель, догоняя мусорных мальчиков, а в ответ слышит грозный окрик «А-та-та!».

Через полчаса вороны расклюют ее тельце, но крысиные кишки еще долго будут валяться на тротуаре возле помойных баков, перевернутых, потому что — а-та-та! — мальчики, нет, один только Шалаёнок запрыгнул в бак, раскачал и перевернул его вместе с собой, не обращая внимания на проклятия старухи, рывшейся подле него в соседнем контейнере.

Мусорные мальчики вырывают кресты из могил на старом кладбище...

— Сколько тебе лет?

— Девять!

...и выбегают на перекресток, вопя «Сатана! Сатана!». Железный крест радостно блестит, воздетый к небу.

Мусорные мальчики бросают бутылки с крыши, гадят в лифте, рисуют непотребства краской. Марсель следует за ними.

— Пойдешь с нами на иголку?

В тот день Арсений не пошел, отказался: его насторожило слово «иголка» и домой надо было возвращаться, уже темнело.

В тот день, когда Марсель познакомился с мусорными мальчиками, он видел: как мальчики разбили стекло на общей лоджии в доме № 55 по улице Хользунова; как мальчики исписали бранными словами дверь учительницы; как мальчики, в бутылке перемешав карбид с водой и собачьим дерьмом, взорвали эту бомбу на детской площадке; как мальчики пошли смотреть гниющий труп собаки, расковыряли его палками и бегали друг за другом, вопя «Трупный яд! Трупный яд!»; как постучали в окошко ларька и бросили петарду внутрь. Не в школу, а под теплый дождь ходит Марсель, во двор чудес к мусорным мальчикам, где его учат громить подъезды. Кафельная плитка, оторванная от пола, разлетается вдребезги под ногами пешехода, и брызги дождя вмешиваются в осколки, отскакивают от расколоченного асфальта, падают и рассыпаются еще раз — на более мелкие капли, а те снова летят, взрываются и стремятся вниз. Кто знает, где конец дождю?

Бутылки сыплются на голову, бутылки из лепестков грязи, грязноцветные стеклодендроны; стекольчатый дождь по головам, по спинам, по зонтам. Что там бьется? Кто там дебоширит в коридоре, бьет бутылки о входную дверь? Михаил поднимется со стула, Евгения бросит мыть посуду и вытрет руки о фартук, Зина упустит мысль в кофейник, а Геннадий тягостно вздохнет. Но эти люди никого не найдут за дверью, только спешный звук беглых шагов да бранный вопль застигнет их на пороге.

Шли, бежали, неслись через пустырь, что за Институтом искусств, за трамвайной линией, перед вещевым рынком, над ядром Земли, под созвездиями. На этом пустыре — две ивы да турник — нацисты убили поклонника негритянской музыки: повесили, как странный фрукт. За рынком, где Марсель покупал себе кроссовки. Кофты, сапоги, располагалась автостоянка, а за ней, перед лесом, — научно-исследовательский институт «Вега», несостоявшийся и пострадавший: длинный трехэтажный корпус и семнадцатизэтажная недостройка, брошенная в перестройку. Семнадцать этажей, но каждый этаж высотой в два обычных; пустой и прозрачный каркас высоты, бетонный скелет с огромной шахтой в середине — вот она, Игла, легендарная Башня смерти: якобы здесь людей приносили в жертву неведомой сущности, сбрасывая в шахту. Обиталище желторотых наркоманов, юных сатанистов, неоперившихся нацистов, бездомных стариков и мусорных мальчиков, с которыми пришел сюда Марсель. Тревожный проем в стене с красной подписью: «Проход воспрещен!! Опасно для жизни!!» — и зеленой помельче: «God is the place where you can come». Когда Марсель подошел ближе, он рассмотрел картинку, подрисованную возле английских слов, — это была девочка, шагающая по волнорезам, как могли бы шагать пальцы, подражая ногам, по клавишам фортепьяно. На слепом ходу она читала книжку, поэтому не могла заметить, что в третьем проеме ее поджидает акула.

Внутри здания обреталась тьма, в которой можно было выбрести к подвалу и бункеру, то есть пойти в нижний мир, каковой, если верить завсегдаям, простирался на семнадцать этажей вглубь, а можно было взойти ввысь по одной из двух лестниц без перил, но с черными свастиками на ступенях. По этим черным свастикам и побежали мусорные мальчики, вопя «А-та-та! На блокпост!». Блокпостом назывался верхний этаж под бетонной крышей, куда тоже залазили, — по вертикальным железным лесенкам, повисая над пропастью. А блокпост был ветряным этажом, продувным, потому что стен как таковых тут не наблюдалось вообще, лишь бетонные столбы да плиты кое-где. Зато имелся железный мост через шахту, его называли мостом самоубийц — отсюда и прыгали жертвы иглы. Все здание было в здоровенных щелях, в п р о б е л а х, во внезапных пропастях. Поднимаясь по лестнице, ты запросто мог ускользнуть в небытие стенной расщелины. Кроме нацистских символов, звезд хаоса и пентаграмм, стены пестрели надписями: «Ешьте своих детей!» — и подобными стишками: «Игла, наверно, край чудес: в нее зашел и там исчез!» Мусорные мальчики находили в подвале разрезанных собак, черепа и белые банты. А как-то раз на дне шахты обнаружили труп. Кто обнаружил? Да какие-то фраера, нездешние, чистенькие мальчики, вроде Марселя, старшие подростки. Сначала послышался отчаянный вой падения, а потом что-то грохнулось вниз (мусорные сбросили кирпич). Чистенькие ошалели, глядя в шахту с восьмого этажа: там распластался «упавший».

— Его убили сатанисты! — с таким воплем подскочили мусорные к чистеньким.

— Кто убил? Как?

— Сатанисты столкнули!

Наверху раздалась вопли, кто-то палкою отбивал похоронный марш, кто-то рычал: «Сатана! Где моя игла?!» Чистые ребята, подгоняемые мусорными, бросились вниз по лестнице. Услышав звук бега, «труп» спрятался в подвале.

— Давайте посмотрим, вдруг он еще жив! — предложили мусорные мальчики.

— Тут никого нету!

— Наверное, его унесли в бункер, чтобы разделить на жертвенном камне. Надо спрятаться в подвале: сатанисты уже стерегут нас у выхода!

Заманив чистеньких ребят в подвал, мусорные мальчики устроили им такую черную мессу, что те прибежали домой в мокрых штанах.

На двенадцатом этаже Марсель остолбенел перед огромным рисунком: со стены на него смотрел зеленый, длинноносый, пучеглазый комар. Тот самый его комар, что провалился в трубу. Правда, художник в несколько раз увеличил ему голову и сжал тельце, к тому же комар нелепо демонстрировал бицепс, который вспух таким фурункулом на худенькой ручонке, что даже порвал рубашку. В другой верхней руке мутант держал бейсбольную битку, а нижние две сунул в карманы модных брюк. На голову комару художник надел бейсболку назад козырьком, как носят негры. С кончика носа-иголки падала огромная слеза насморка, в которой помещалась закругленная радужная подпись: «Wow!», причем восклицательный знак художник изобразил в виде перевернутого баллончика краски. Марсель, разинув рот, застыл перед комаром, хотя все мусорные мальчики побежали вверх, бранясь по-взрослому и норовя столкнуть друг друга в пропасть. Кто мог нарисовать мутанта? Тот, кто сумел вынуть его из трубы, или владелец похожей игрушки. Марсель так и стоял перед портретом, пока за ним не прибежал Тюн.

— Чего ты уставился? Бежим на блокпост!

— Какой еще блокпост? — сказал Марсель, не отводя взгляда от комара. — А это что?

— Не видишь, что ли? — усмехнулся Тюн. — Это Комарик наш. Не узнаешь? Кстати, никогда не прикасайся к нему и ничего у него не бери, понял?

— Почему это?

Тюн залился визгливым смехом, поднес большой палец ко рту и сделал неприличный жест, одновременно давая языком в щеку, будто у него что-то вошло в рот и не помещается. Затем он еще раз взвизгнул и стал быстро дергать себя за кожу над кадыком, выпятив губы трубочкой. Он дергал все быстрее, пока с губ у него не потекла пеннистая слюна.

— Ты выродок, — сказал Марсель и отошел в сторону.

Ничего не ответив, Тюн стал выпускать длинную тягучую слюну и втягивать ее обратно в рот. Внезапно он бросил это занятие, возопил и с разбега ударил ногой остов кирпичной кладки. Несколько кирпичей полетели в лестничный проем. Тюн, заливаясь визгливым смехом, неистово харкая и бранясь в мать и в бога, стал швырять кирпичи в шахту. Остальные мусорные мальчики, успевшие подняться на три этажа выше, последовали его примеру. Минут пять эхо разносило по высотке грохот и вопли, наконец кто-то из ребят членораздельно пропищал сверху:

— Чего вы там пляшете вдвоем, с...? Пойдемте на блокпост!

Арсений вдруг понял, как нелепы были его детские игры. Он усмехнулся и бросился вслед за Тюном.

С тех пор комар не выходил у него из головы. Марсель по памяти набросал в тетрадке портрет комара, а потом еще раз сходил на иглу и срисовал его точнее, но ему не нравилась ирония художника, ведь комар требовал большей серьезности. Рисунок казался Марсу наивным. Вскоре тетради школьника были украшены эскизами чудищ. Марсель живописал всех: и оранжевую обезьяну с биноклем

вместо туловища, и ярко-синего атлета с рыбьей головой, и черного поджарого скелета в нацистской фуражке, и саблезубого скелета с отстегнутыми крыльями летучей мыши и бензопилой вместо руки, и самурая с панцирем жука и клешнею краба. Он даже снял с антресоли ящик с игрушками, чтобы рисовать с натуры. Вскоре Арсений скопил денег на краску, он купил три баллончика: зеленый, черный и оранжевый. И как-то раз, просиживая школу в подъезде, он впервые попробовал себя в живописи: на лестничной площадке между этажами, рядом с неприличным стишком и подписью «Егорка», нарисовал саблезубый череп в профиль. Но Марсель еще не умел обращаться с аэрозолем, так что рисунок его стек прямо на здоровенный фалл кисти неизвестного художника.

Вскоре Арс поднаторел в живописи: он догадался перелистать альбом Босха и подыскал нужный стиль для комариного портрета — «Музыкальный ад». С тех пор Марсель только и делал, что рисовал этюды на стенах и в тетрадах, и чаще всего изображал пару проткнутых иглой исполинских ушей с длинным лезвием посередине; выгравированная на лезвии буква «М» в этом случае была подписью художника, а не Антихриста, как у Босха; уши вместо стрелы протыкал комариный нос мутанта: он бесцеремонно присоединился здесь незванным постмодернизмом, коровьим седлом, пятой ногой собаки Павлова, исходят слюной в облаках так обильно, что начинается дождь, ливень над городом. И летит кафельная плитка с лоджии, разбивается вдрызг в брызгах капель, падает фатально, как генерал Каппель с коня.

Так, с мусорными мальчиками, во дворе чудес, на Игле да в подъездах Арсений прогулял, просидел, прорисовал три учебных недели, а потом нарочно заболел, чтобы получить больничную справку. Когда он выздоровел, когда зашел в класс, его встретили аплодисментами: сначала зарукоплескал главный остряк Шептунов, его поддержали; овации стихли, Марселя стали допытывать и язвить: «Ты где был? Мы уже думали, что в другую школу перешел». — «Ах, ты болел? Слышишь, наверное, он сифилисом болел!» — «Нет, он триппер подхватил у Юльки. Да, Федорова? Что молчишь? Ты триппером Сеню заразила?» — «Что?» — «Да ладно тебе! Мать твоя б... трипперная, и ты такая же!» — «Ну и зачем ты пришел, Триппер? Мы тут уже тригонометрию и китайский язык изучаем!» Марсель прошел к своей парте, но его место, рядом с названной Федоровой, было занято молчаливым Женей. Арсений сгрел его тетрадь, учебник, ранец и зашвырнул все в дальний угол класса. Женя поплелся собирать. Не говоря ни слова, Арсений грохнулся на стул, достал пудреницу и стал замазывать крупный прыщ на лбу.

* * *

Однажды мама обо всем узнала и выругала Марса и долго его допытывала: почему, зачем и есть ли совесть. Ее вызывали к директору, ей рекомендовали и увещевали ее, даже завуч, даже классная руководительница. Но М. гордо молчал в ответ на все допросы, как пленный немец. В итоге он заявил безапелляционно, категорически, сказал как отрезал, что решительно больше никогда — и это ультимативно — не пойдет в школу: точка. Ну как же, мама, ведь ты сама отказалась учить их французскому языку, уволилась через год, а потом женилась на дяде Лине из-за денег, то есть наоборот — это он согласился выйти за тебя, чтобы получить гражданство. И его друг негр очень хорошо плясал на свадьбе. Но все равно дядя Линь приезжает, как раньше — в три месяца раз, только подарки его стали еще лучше.

«Национал луски напитка — эта водки», — говорит Линь, доставая бутылку из сумы, а потом настойку на червяке.

Так или не так, но ты не захотела туда ходить, а меня посылаешь прямиком к пороссятам. Хорошо, Марсель, сдалась мама, выдохнув трезвый воздух, попробуем тебя в лицей отдать со следующего года, bien. После этой истории с вашими девочками я и сама хотела тебя перевести. Это же кошмар какой-то. И правда что, мама Арсения права — суший страх, и не поверишь, ведь пятиклассницы, черт побери, по десять лет им, а такое вытворили из-за куклы: надругались над твоей дочкой, дорогой читатель, а потом утопили ее в реке, а потом утопили в реке твою дочку; отвели на пруд, били в живот ногами, пытались вскрыть вены булавкой, она звала на помощь, но рыбак решил оглохнуть, потом собачье дерьмо заставили есть, нашли всю изувеченную, изнасилованную палками во все отверстия твою маленькую дочь пятиклассницам дали по два года колонии а где были родители сестры братья дядя посажёные отцы отцы двоюродные тёски шурины золовки ветошницы начальное образование социальные дисциплины охрана жизнедеятельности скворцы победа грязьподногтямикакчерныеполумесяцы.

7

Забывшемуся писателю полруки откусывает злокозненная машинка; облитая кровью, она выплевывает стальные иероглифы вместо букв, отрывает синичкины глазки.

Арсению придется еще дохаживать учебный год в старую школу, но пока — ладно, поживем — увидим, повременим, ведь Первомай уже, коммунисты-реваншисты алчут повернуть время вспять, как некогда хотели повернуть Тобол, а Марсель алчет Нину в коктебельских скалах, ему плевать на гражданский долг, плоть его взывает, вопиет. Врачи сказали — раннее созревание. Мама взяла его все-таки, хотя страшала, что оставит в наказание за прогулы в Воронеже с Машметом. Купейным вагоном — Линь разорился — доехали в Симферополь. Дядя Кузя, мамин двоюродный брат, седой и добрый, справедливый, и длиннолицый, и губастый, похожий на коня и Пастернака, — словом, настоящий гуингнм, встретил на вокзале, говорил на сплаве языков: «Привіт, хлопці! Що, Сеня, матуся галушками пригощає? Молодцом!» Таков дядя Кузя, Кузьма Давидович, отец Нины, разведенный судьбою и судом с ее матерью. Однажды он приехал из стольного града доходягу мать дохаживать да так и остался под горой жить, под Сюрю-Кая, чтобы наблюдать лошадей на склонах, собирать, бродя в облаках, лечебные плоды держидерева да напевать песенки:

А по-під горою,
По-під високою
Козаки йдуть!

Мені з жінкою
Не возиться!
А тютюн та люлька
Козаку в дорозі
Знадобиться!

Курчавая Нина тоже к Первомаю подоспела, из Киева, и, как сказал Кузя, нарочно — по Марсу соскучилась. Что и говорить, они хорошие друзья, не разлей вода, до темна бегают в заповеднике Карадаг, весь горно-вулканический массив облазили,

играя в «Волошина», то есть разыскивая места, откуда он писал свои картинки. Свелялись по открыткам, и если что-то похожее отыскивали, Нина тотчас на этом месте обнажалась. Все снимала, даже трусики, с опаской оглядываясь по сторонам: вдруг егеря наступит; а кроме них, тут никого и быть не могло весной. На два года старше братика — в этот раз Нине было двенадцать. «Як мені встати?» — спрашивала веснушчатая Нина, и Марсель серьезно и строго приказывал: «Повернись!»

Когда птицы не поют, в горах еще тревожнее.

Потом, набрав по охапке карадагских тюльпанов, нарциссов, асфоделины, дети искали полного уединения, чтобы поиграть в серьезную игру — в «Босха». Кругом был вид, торчали клыки скал, окрест синело море; порой налетали холодные облака, окутывая долины, порой ушастые косули прыгали через тропку и зорко замирали, не особенно страшась. Остроглазо глядя на мыс Хамелеон, сменявший оттенок — от волошинского до непонятного, Марсель и Нина спешно раздевались. Освеженные водами источника (в нем суфий умывал лицо), притаившись, например, за духовитым можжевельником, они визитировали сад земных наслаждений: девочка вставала на землю коленями и локтями, а Марсель, выбрав карадагский пион с наиболее мягким стеблем, вводил его сестре в задний проход: «Ну шо? Як виглядає?» — спрашивала рыженькая Нина, оглядываясь через плечо.

Однажды, пока дети играли, ветер смахнул с утеса колоду волошинских открыток, и вид полетел к виду, мыс к мысу, скала к скале, пейзаж к пейзажу и даже

Все замерло — холмы, деревья, тучи,
В лиловом олове весенних талых вод, —

и это полетело в согласную сторону — к бухточке с прозрачными деревцами, в киммерийские сумерки полетело. А чертовы Золотые ворота, знаменитая скала с дыркой, рисованная-перерисованная, — не сумка ли это старухи ветошницы, распахнутая открыточным ветрам?

Скоро-скоро прошумели бодрые куранты победы, напомнив каждому о тех гордых днях, когда красные камрады отмщения полоняли в кирхах швабских дев. Праздники сворачивались, порохом пропахнув; со слезами на глазах Марс глядел в иллюминатор поезда — так бледный иллюминат перед обрядом глядит на портрет Вейсгаупта.

«Всматривайся, не моргая, или всасывай что-то — и так стань сосанием», — говорил господь Шива; и Нина, словно следуя этому, глядела на Марсея, не мигая вовсе, дерзко, внимательно да сосала ванильный колоб на палочке. И вдруг поезд поплыл. Дядя Кузя, стоямя провожатым перпендикуляром платформы, накренился, отослал последнюю посмешку и впитался в раму поездного окна; за ним последовала Нина. А поодаль какая-то старуха с пятью сумами наперевес махала платом и скланилась вослед составу.

Марсель Арсений Арс Марс сторонился юга, стремясь поездом на север. Вокруг него деревья уходили корнями в землю, птицы летали, хлопая крыльями в пустоте, звери бегали лапами по твердой почве, а поезд выпускал дым, потому как ему присуще это; ветер помавал деревянными ветвями, дождь каплями падал долу; женщины в деревнях — на сносях и вдовы — кормили матерей хлебом; коршуны в большом небе дрались за добычу, а насекомые прятались в травы, прятались в травы.

Однажды ночью мусорный мальчик Комар хватает ледяной лапкой спящего читателя за ногу. В неярком свете ночника Комара превращается в длинную собачью морду, потом заостряется еще сильнее — в клюв. Комар берет лицо руками, вытягивает его изнутри, из головы, скатывает колбаской, стержнем, заостряет все тоньше, пока лицо его не становится иглой!

Как-то раз Марсель дежурил в подъезде — утюжил ступенчатый день, складчатый полдень, заплеванной и бетонный. Хорошо и не страшно было в подъезде Арсению, легкий крест одинокого прогула нес Марсель весьма покорно, время от времени чертя на стене анфас мутанта. И тут дверь общей лоджии распахнулась — из света вышел мальчик и остановился пред Арсением, осторожно глядя на него. Арсений прикрыл ладонью глаза от солнца и различил, узнал школьника из другого, не его класса. Это был несчастный Устрица. Всеми отверженный чудак в сапогах. Марс тотчас вспомнил, вспомнил, как Устрицу держат за ноги и за руки, таща к уборной, чтобы затоптать его там в урину и слизь, чтобы наплевать ему в один карман, а другой набить туалетной бумагой; Устрица же вопит истошно, рычит, извиваясь членами: «Шёнберг! Шёнберг! Шёнберг! Шёнберг!» Его вопль мешается с алчным смехом ребят.

Эту сцену вспомнил Марсель, когда пред ним стал Устрица во плоти и вне школы. Причастившись каштановым прогульщикам, здесь, в каштановой роще прогула, сидел на ветвях Устрица, обретая приставку — зарат. Марсель часто видел его на перемыках: перепачканный краской, он бегал по коридорам — невменяемо озираясь, и щурясь, и скалясь. В насмешку над теми, кто носил кофты с портретами и подписями музыкальных команд или негритянских частушечников, Устрица написал себе краской на груди «Галина Ивановна Уствольская!» и приколот булавкой фотографию композитора. «Кто это такая? — спрашивали у Устрицы. — Это твоя мать-б...?» Устрица скалился и корчился в ответ, а то и говорил: «Это великий композитор Галина Ивановна Уствольская. Она — гений, а ты — скотина!» — за это его нещадно лупили. Еще за дедушкину фуфайку и резиновые сапоги, ведь он был сыном нищей музыкантши, виолончелистки Клары, которую на глазах Устрицы еженедельно употребляли два соседа-бандита, а бывало, и его, походя. Устрица плевался кровью — об этом знали все и сторонились. Когда ему разбивали губу или нос, он бегал и харкал во все, что движется. Однажды Устрица плюнул кровавым сгустком в лицо директору школы, и тот вызвал его красивую маму к себе в кабинет — и долго-долго от нее ни слуху не было ни духу (Устрица-то ждал под дверью), потому что по известной причине по поводу очевидности, так как понятно и так без экивоков, эт сетера, нота бене.

— С..., ты слушал Большой дуэт для фортепиано и виолончели Галины Ивановны Уствольской, написанный в одна тысяча девятьсот пятьдесят девятом году от Рождества Господа нашего? — обратился Устрица к Марселю.

— Сам ты с..., — ответил Марсель и, сорвав колючий каштан с ветки, которая росла прямо из стены, из нарисованной промежности нарисованного скелета, протянул его Устрице. — Привет, Устрица, сам ты с..., тоже прогуливаешь?

Тоже. Вскоре Марсель уже сидел в комнате Устрицы, ведь тому не непременно приходилось околачиваться по дворам да каштановым аллеям: мамы его зачастую дома не было, потому что днем она работала кем-то там в столовой, если не выступала в концерте.

Что было в комнате несчастного Заратустрицы? Что узрел Марсель, во что впилился он? Авгиевы конюшни: светодиодный хаос проводки, проводной делирий

электронных кишок, динамичный басистый кульбит чего-то соединенного воедино — такова была комната Устрицы. Везде тут ползали провода, тянувшиеся от раздраконенных звуковых систем, от виниловых проигрывателей и кассетных магнитофонов с вылезшим нутром, а колонки, старые, стояли даже в окне, так что вместо света лился звук. И всюду горели зеленые да красные огоньки мелких фонариков, вплавленных где ни попадя. Ребята зашли в готовое звучание: а ты музыку не выключаешь, что ли, когда уходишь? Нет, не выключаю. Играло тут много всего разом.

— Зачем так? — удивился Марсель.

— Чтобы одновременно, чтобы одновременно слушать, например, Струнный квартет номер семь Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и Пять фрагментов по картинам Иеронимуса Босха для тенора и малого оркестра. Знаешь, кто их написал? Альфред Гарриевич Шнитке их написал, — зачастил Устрица.

— На кой? — удивился Марсель. — Я вообще такую музыку не слушаю, а Босха очень даже...

— А мне плевать, какую ты слушаешь музыку, потому что ты слушаешь дерьмо какое-то, в любом случае у тебя папа китаец. А слушать одновременно надо для тренировки: чтобы в уме разделять две композиции. Понимаешь? В уме, в уме. Научиться их отделять друг от друга в уме!

— А зачем ты так глазами вертишь по сторонам и ногти грызешь?

Чтобы в уме, в уме научиться их отделять: Устрица закопался под провода, под слой проводки, заискрился током, стал электродом в сетях, как лещ в небе, как скользкий окунь в облаках, как зубастая с...: если засунуть кулак в рот и сказать «щучка», то она и выплывет изо рта и рассыплется костлявыми с...и буквами. Смотри не поперхнись!

9

Что, читатель, больно тебе висеть кверху ногами бесхозным и выморочным? Хорошо ли тебе дышится, двенадцатый аркан? Пульс, давление, состав кала — все в норме? Смотри не обделайся в лифте, когда он станет биться о стены шахты! Говорят, кабины отрываются иногда, от времени до времени, изредка, но если успеть подпрыгнуть, то ничего не сломаешь, даже коленные чашечки не раздробишь. Есть секунда, чтобы подумать, рассчитать: раз, два, три — прыгай! В щепки раскрошится пол кабины, зато благородный читатель наш с книгой в руках так и зависнет в клубах пыли.

Около лифтов, грузового и обычного, прилежно выбритые молодые люди в черных олимпийках и красных восьмиклинках играли в гольф: влажную от слюны кожуру подсолнечных семян насыпали двумя пирамидками напротив каждого лифта; отступив шаг от стены, парни, как клюшками, целились по резиновым мячикам бейсбольными битами — такие мячи продавались во многих ларьках и обладали любопытной способностью отскакивать от земли на десять метров вверх. Двери лифтов открылись одновременно, гольфисты ударили по мячикам, и те, разбив пирамидки шелухи, влетели в кабины. «Бинго!» — сказал один парень, а второй пустил струю сладкого дыма в лицо Марселю, когда тот уже зашел в грузовой лифт и нажал на расплавленную кнопку первого этажа. Дверь кабины стала медленно и спорадично закрываться, и пока она скрипела, молодые люди не сводили глаз с Арсения, заложив биты за шею и повиснув на них, как на перекладинах крестов. «Ау! Ты наш мячик увез, слышишь? Ты денег должен!» — донеслось до Марселя сверху.

Кнопку одиннадцатого этажа тоже расплавили. Все остальные кнопки были прямоугольными, а эти три напоминали стариковские подушечки пальцев; третья — кнопка «стоп», красная и помятая, как палец старого взмокшего дьявола. Потолок в лифте загадили черной копотью, словно тут стояли с факелами, а на самом деле кто-то спичками выжег подпись «Егорка». Всю вентиляцию залепили жевательной резиной, разноцветными катышками: желтыми, голубыми, розовыми; от свежих и влажных жвачек еще слегка веяло мятой и ванилью. Пол в кабине местами был прободан — это умалишенная старуха, знаменитая на весь дом, однажды рубила пол топором, зависнув на шестнадцатом этаже.

Лифт приехал, дверь поползла вбок. Марсель хотел выйти, но путь ему преградили гольфисты. «Успели уже спуститься на маленьком лифте», — подумал Арсений и протянул им зеленый мячик.

— Что? Слышишь, это не наш мячик! Наш был красненький! — обиженно сказал правый гольфист.

— Может быть, красный мячик попал в другой лифт? — предположил Марсель.

— Конечно, попал! — ответил левый гольфист.

— Чего же вы хотите?

— Слышишь, у нас было два красненьких мячика! — в один голос ответили гольфисты и зашли в лифт.

Один гольфист снял свою красную кепи и помял в руках, будто ее цвет свидетельствовал в их пользу. Марсель с размаха ударил мячиком об пол, и тот с большой силой и быстротой запрыгал вверх-вниз, отскакивая от потолка и пола кабины. Глаза гольфистов прыгали в орбитах вслед за ним. Арсений тем временем, пользуясь заморочкой, выскользнул из лифта и побежал во двор чудес в этот день наведались нацисты.

— Это у тебя папа китаец? — спросил у Марселя лысый парень со скошенным лбом питекантропа.

— Точнее, наси. Кстати, у них до сих пор сохраняется матрилокальность, что уже не раз наводило меня на определенные мысли. Кроме того, я могу с точностью этнографа заявить, что обычай «приходящих мужей» принимает гротескные формы в чужеродной среде, — вдумчиво ответил Арсений.

— Ничего себе! И как ты терпишь узкоглазого дурака, тупого этого монголоида? Ты чего, а? — спросил второй гладкоголовый питекантроп в зеленых подтяжках.

— Тупой? Сомневаюсь. Но вовсе не желая убедить вас и себя в том, что отчим прямо-таки семи пядей во лбу, я все-таки без обиняков заявляю: вербальные знания его — а кроме пресловутых языков Антанты, Линь Цзесюй, будучи еще молодым человеком, освоил пиктографическое письмо дунба и слоговое письмо гэба — его словесные умения, говорю я, впрочем, русский у него сильно хромает, налагают определенное бремя некоторого интеллекта, так сказать... — начал было Арсений.

— Я поставлен в тупик, я развожу руками! — вознегодовал нацист. — Ты русский парень чистой, грызи твою душу, расы! Как ты, не побоюсь повториться, живешь с этим узкоглазым кознодеем? Ты чего, а?!

Намереваясь ретироваться, Арсений крутнулся на каблуках: не желал он диспутировать с плешивыми поросятами, но один из них удержал его за предплечье.

— Эй, слышишь, отпусти малого! — сказал гольфист, подоспев.

— Ты чего, уркаган, санкюлот дерзкий, таким толстым голосом говоришь, забыл, как бычок в глазу шипит?! — осведомился патриот.

Завязалась нешуточная потасовка — прямо в каштановой роще близ двора чудес. Здесь же, подле гаража, мусорные мальчики принялись глоссолалить и харизматствовать, наблюдая зрелище драки.

А дело в том, что Марсея уже давно перевели в лицей и там первые полтора года ему пребывать было сносней, чем в старой школе, потому что дети не так свинячили. И все было бы хорошо, если бы учительница русского языка однажды не спросила его прямо среди урока: «А что это, Арсений, я тебя с каким-то китайцем видела? Вы пакеты с продуктами несли из магазина». Марсель поднял руку для ответа, вскочил с места и выдал скороговоркой: «Сельское хозяйство является основной отраслью насийцев. Они выращивают рис, кукурузу, картофель, пшеницу, бобы, хлопчатник, лен и прочее. На двух берегах реки, реки Цзиншацзян, есть лесные массивы, богат растительностью горный район Юйлун. Да, но должен заметить (и не без гордости чайного гурмана!), что мой отчим Линь Цзэсюй родом из провинции Юньнань, где производят первоклассный пуэр. К тому же он мастерски играет в маджонг». Хохот класса посредством метаморфозы преобразился в перемену, и тогда Хрюков, остроумник детского коллектива, предположил: «Так твой папа проклятый монголоид? Тебя надо за это убить, а прах развеять над загородной свалкой, ибо узкоглазые нелюди приезжают, чтобы разносить СПИД в блондинистой среде наших женщин. Хайль Гитлер!» Марсель вспомнил, как Тюн, если случался повод, внезапно и ловко воздействовал головой на хорошо всем знакомую видимую часть носа, которая называется наружным носом и состоит из корня, спинки, верхушки и крыльев. Основу наружного носа составляют носовые кости: лобный отросток верхней челюсти, латеральный хрящ и большой крыловидный хрящ носа. Хотя наружный нос и покрыт такой же кожей, как и лицо, но из-за обилия сальных желез в этом месте толст и малоподвижен. И сей орган прекрасно сочетается с изящной струйкой крови, норовящей омыть сфинктер губ. Марсель потирал ушибленный об нос лоб, а озадаченные одноклассники уже порешили, в уборной отмывая дерзновенного блюстителя расовой чистоты от его расово чистой кровушки, устроить Марсу темную. Но того уже и след простыл.

Да, Валентина Сергеевна, вы и впрямь видели Марса и Линь Цзэсюя, когда они шли из универсама с колбасами, пряниками, без йогурта, без кефира, без ряженки, без простокваши, но с яйцами, чтобы сделать из них столетние за месяц. Вы, Валя, как вас кликали дети на переменах, шли и не знали ничего про столетнее яйцо, синее от времени, а Арс употреблял его и запивал пуэром; вы же неблагородно просаживали учительскую зарплату на какое-то индийское пойло, дававшее в чашку вам бледно-коричневый настой. Вы, Ваалова Валя, ни разу в своей никчемной жизни столетнего яйца не ели, выдержанного и синего, а стоит ли говорить о яйце тунцзыдань?

Линь Цзэсюй ежегодно приспособливал Марсея для приготовления этого деликатеса — так было с раннего детства, сколько Арс себя помнил: каждую весну, во что бы то ни стало, когда силы инь и ян вовсю карнавалются, Линь приезжал готовить тунцзыдань. Мама даже беспокоилась, что Линь больше в Марселе заинтересован, чем в ней, ведь без Марса яйца никак нельзя было состряпать: мальчика поили и поили соками, водой, мочегонным чаем, чтобы в конечном счете урины хватило на большую кастрюлю. Затем в квартире становилось душновато, и мама выводила Арса на прогулку: к трубе ли, к каштановым ли аллеям или просто, но прочь из дому, где хитро ослабленный Цзэсюй варил в Марселевой моче иероглифы, нет — яйца: «Делисасес, палесна!» — говорил Линь, когда Марс и мама возвращались. Пахло блюдо не очень, но на вкус было пригоже. Вскоре Марсу стукнуло тринадцать, к горлу подступало уже половое созревание, делавшее Марселеву мочу непригодной для варки. Дядя Линь решил, что можно пойти на уступку и дотянуть до четырнадцати лет, а потом, глядишь, новые дети появятся.

А вы, Вааловна, шли мимо украдкой, улыбаясь хитро и таинственно, словно яиц наевшись, неся в суме своей тетради на проверку, в том числе Арсения тетрадь,

чтобы вlepить ему двойку — красную, жирную, чем-то напоминавшую фрагмент иероглифа, — вы нарочно постарались, попробовали себя в каллиграфии. И вероломно выругали Марса за небрежность почерка, подписав под нехорошей оценкой: «Вместо букв — иероглифы!» Марсель вас, крадущуюся, не заметил тогда, но вспомнил тот поход за яйцами, когда вы о нем обмолвились на уроке. Потому что его с отчимом в означенный день атаковали в соседнем дворе, когда они уже подходили к дому: под ноги Линю упал камень, Линь Цзэсюй остановился, Марсель тоже, — метрах в десяти от них стояла группка подростков. Когда Линь обернулся, в него полетел второй камень, попал в ногу. «Лей хули-гань!» — крикнул Линь, поставил свой мешок и двинулся в сторону хулиганов; мальчики заготали и бросились наутек. Но вы, Ваалова Валентина Сергеевна, ассиро-вавилонская руководительница класса, для детей чудище финикийское, идолище Гелиогабала, повелительница русъязя, — вы того не наблюдали, ибо сокрылись во мраке захарканного подъезда, где сидела какая-то старуха, повалившись горбом на почтовые ящики.

10

Согласно китайским верованиям, после смерти каждый читатель распадается на светлые и темные души, которые называются «хунь» и «по»: одни становятся злыми духами, а другие, чистые улетают в небо.

К чертям все школы и лицеи! — лучше с Устрицей прохаживать уроки по стоптанному, скользкому снегу, посоленному от бабкиных падений (чтобы пресно не грохнулась). А можно его и полизать, как Устрица: напившись сладкого сиропа от кашля, бахался под ноги прохожему дядьке и начинал лизать снег и носы ботинок, а дядька, опешив, тупо столбенел. Или, взяв двухлитровый бутыль сидру, засесть на заднее сиденье автобуса, дабы умчаться, визжа от восторга, до конца, до конечной, в Отрожку мечты, в пригород и загород, где снег гульче трещит под мокрым и теплым ботинком, где есть еще аптеки с малиновым сиропом грез, где, батенька мой, благорастворение воздухов, изобилие плодов земных.

Или на спор поцеловать взасос унылого дворника, подвыпившего дядьку: «Ах ты мой милашка!», а потом бегать от него наперегонки, переводя вопль «Мужеложники поганые! Содомиты!» на язык волшебного сиропа — деванагари великих пубертатных лет. Кудесное лихолетье, между прочим, когда деревья на бегу перевертываются и обледенелые мартышки прыгают с капота на капот, поскальзываясь и вопя, когда только школа мешает святой напасти разгула. Марсель с Устрицей бывали во всех районах города во всякое время суток, во всевозможных состояниях, часто были биты, но всегда веселы. Особое у них водилось развлечение — подкрасться к одурманенному героином несчастливцу, одному из тех, кто друзьями-соигольниками выброшен бывал на улицу в мороз (чтобы в тепле не уснул и не помер от передозировки), подступить к нему, гуськом идущему через двор к киоску за сигаркой, и, украдкой разрезав свою ладонь бритвой, плеснуть наркоману кровью в лицо. Не надо было убегать, ведь тот весьма медленно мог двигаться, хотя все ясно понимал и пытался вышевелить ругательство кровью окропленными губами. «А-та-та!» — кричал Марсель в левое опийное ухо. «Галина — Ивановна — Уствольская!» — вопил Заратустрица в правое.

И квартир в первом попавшемся доме друзьям не хватало, чтобы хоть в одной отыскать незлобное лицо.

— Чего вам надо? Вы кто?

— Мы, матушка, б о г и, а тебе видеть смерть детей твоих, помни-помни-помни-помни, — утихало эхо вдали, убегало ступенями не вверх и не вниз, а всяко.

А ночью ребята пойдут прочь из дому, то ли на радость, то ли на горесть мамам, заблужденным, испытанным родительницам. Куда пойдутся Марсель с Устрицей? Они поедут в центр города, пойдут в ночной клуб. Тринадцатилетний Марсель запросто проходил в ночные заведения, потому что дядя Линь не скупился, покупал и модные красные кофты, и штаны особого фасона; Устрица же, хотя и был на полтора года старше, но платьем походил на вшивого бродягу, так что Арсу пришлось выменять ему на музыкальные пластинки часть своей одежды — баш на баш.

Напялив для блезиру очки с желтыми стеклами, отроки двинут в клуб. Модное заведение привечало сигаретным дымом, легкими знакомствами и громкой танцевальной музыкой, которую Заратустрица недолюбливал, но и не отрицал вовсе: «Ее можно исправить, если с умом, с умом к этому подойти», — говорил Устрица; в итоге он решил скрестить Уствольскую и бристольский саунд. Марсель стал курить сигариллы и за ночь ссасывал две пачки. Бродя с этажа на этаж — на каждом звучала музыка разных стилей, — он то и дело подмешивал волшебный сироп от кашля в очередную порцию разливного пива, в то время как Устрица донимал прихожан заведения: раскрашенных девушек, манерных содомитов и стареющих полуночников. «Все тут хорошо, но лучше бы они Шёнберга или Берга включили вместо этой наковальни», — вдруг обращался Устрица к кому-либо. Иногда охранник подходил к Марселю, просил снять очки, затем внимательно разглядывал зеницы его очей и благополучно удалялся, одобритительно кивнув, хотя Марс каждый раз думал, что вот теперь его точно вышвырнут в морозную воронежскую ночь.

Порой все плыло куда-то; ночные улицы вымораживали редких прохожих, но Марсу было жарко в своей вельветовой курточке нараспашку, он, как и Заратустрица, наслаждался холодком неспешной какой-то, замедленной вьюги. Все эти холодные люди в шубах, пуховиках, дубленках и синтепоновых куртках — они поскользывались и падали в снег, и тогда огромный комар высвобождался из своего подземного логова. Труба каучукового завода, торчавшая стелой над миром, — труба детских путешествий Марсея — оказывалась колпачком огромной комариной иглы. Комар сбрасывал этот дымный колпак, обнажая блестящую пику, и взмывал, затмевая видимый мир. Перелетая от тела к телу, он выпивал прохладную кровь людей, кровь с кубиками льда.

Пешком или в шкипере, на конках или в пролетке, с извозчиком или с водилой — так или не так, но Марсель с Устрицей добирались до дому под утро, когда еще не светало, но уже спать не хотелось, потому что спать не хотелось и раньше — от сиропу ли, от недолгого ли пребывания в жизни? Ведь улыбку тянет с блюдца невыспавшееся дитя, как Устрица тянет сухарик из пакетика, как Марсель потягивает сиропный коктейль с духунпао — сбереженным в термоске плескливый чаем. В комнате Устрица повесил много елочных фонариков, новогодних огоньков, с тем чтобы хорошее стало жить, уютней. Часа в четыре утра товарищи заводили пластинку погромче, так что слышно было аж во дворе, если открывали окно — а его распахивали, дабы страшать прохожих, бредущих во мраке, вспышками допотопного фотоаппарата, — и доносилось на всю округу в подснежной тьме: «And by the way, if you see your mom this weekend be sure to tell her... Satan, Satan, Satan, Satan».

Из печатного тарабаха рождаются буквы, фразы, строки, главы, радуги, уютные gobелены, фактурные ландшафты, птицы, проволока детства, пыльный выгон, грусть, заборы.

Распределим позиции: Марсель вновь сидит на кухне, отражается в чайнике, пробует расслабить глаза, как учила сестра, чтобы видеть мутно; чайник отражает ложку, яйцо, Марселя, тревожное пятно скатерти, даже читателя частью; мама крутит в ванной волосы на бигуди; во дворе пятеро сонных приятелей говорят о сущем, обо всем, что видно здесь. А видно остов кошки, размазанный и ссохшийся за придомным садком с могильными пирамидальными тополями (не город, а кладбище гигантов!); красочную исполинскую улитку, нарисованно ползущую по склону домового фасада, чтобы местным детям было веселее жить; детей, играющих сдутым мячом на расчерченном поле. И солнце смело падает на зубцы отдаленных высоток, и стремительный стриж пронзает воздух молодой весны, и кто-то истошно орет, потому что много скопилось вокруг голода и любви.

Шел 199... год от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, новорожденных выбрасывали в форточку.

Арс, как Асур, взбунтовался, восстал против прежнего: ненавистная комната подрагивала детским нервным тиком и желтела потеками ночного энуреза. Асур распылил краску, намалевал комара во всю стену, изобразил ухо, проткнутое иглой: в общем-то, личный герб определил в своих покоях. Мама скрепя сердце приняла вандализм быта, сославшись на неизбежность пубертатных причуд. Затем Асур-Масур глянул в потолок — там люстра — убогое мещанство — висела светящейся мощной — долой! Плафон полетел со второй лоджии, хлопнулся на козырь подъезда, где валялись пивные бутылки да шприцы; место плафона занял табурет, выкрашенный красным: его Асур подвязал к потолочному крюку обрывком провода. Три стены, кроме комариной, Масур обклеил пакетными лицами, складчатыми пакетчиками, причем нарочно не разглаживал им физиономии, затем чтобы криво глядели. Деконструировал советский шкаф, распал его на доски, вынес на лоджию — туда же тахту со стыдными следами клейких женщин. Старый матрас приспособил под лежбище в одном из углов запустелой пещеры своей. Поприклеивал тут и там на потолок и стены бутылочки от волшебного сиропа. Два короба гладких коктейбельских камней рассыпал вдоль плитусов. Для поддержки звука установил проигрыватель виниловых пластинок и старые колонки его расставил, как Заратустрица, по четырем углам. Окно закрасил красной краской да нарисовал черное солнышко: загорал под ним полночами, пресытившись малиновым сиропом. «А что? Что-то в этом есть, — делилась мама с Машметом. — Творческий порыв у ребенка. Стремится к самовыражению».

Образовался зелено-красный склеп в размазах краски; Марсель задурманил его дымом дзесюевских благовоний.

Долой лифт! Долой буржуазную бабахалку с расплавленными кнопками — отныне Арс, возросший до Асура, бунтующий титан малиновых сиропов, будет спускаться с пятнадцатого этажа исключительно по мусоропроводу, а подниматься пешком по лестнице, попутно изучая граффити.

С первого абцуга было больно приземляться: вышвыривало из мусорной кишки во двор на твердый тротуар, но почасту Арсений падал в мягкую гору отходов, как Алиса на листья. Так что Марсений впазд изобразил на стене подле мусоропровода белого кролика: герцогиня будет в ярости!!

Читатель, кстати говоря, жил в другом крыле этажа, соседствовал с Арсением. До пятнадцати лет он большую часть времени проводил с папой-электриком, пока того насмерть не сожгло током. С тех пор Читатель стал всегда читать. В семнадцать лет мать устроила его осветителем в театр, а внерабочее время Читатель проводил в своей каморке или оседлывал качели во дворе, не расставаясь с книгой. Вскоре он привлек внимание местных ребят, и те нарекли его соответственно — Читателем. «Эй, Читатель, есть что почитать?» — так обращались к нему ребята. У него всегда имелось, и вскоре во дворе можно было наблюдать такие массовые читки: Читатель читал, покачиваясь на качелях, а вокруг него сидели на корточках, не боясь от этого заболеть гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, ребята: частью гольфисты, частью люмпены и санкюлоты. Все они тоже читали, грызя семена, сося пиво из горлышек; изредка раздавался гогот восторга — что это? Не то Рогожин начудил? Или Вера Павловна учинила очередной порнокульбит? Были среди ребят засыпающие, пускающие слюну на страницу, иной парень двадцать раз перечитывал одну строку, и та звучала на все лады, переливалась многими оттенками, расширялась в великие смыслы. Возле квартиры Читателя постоянно толпился народ: приходили за новыми книгами; у лифта, присев на корты, разрезали канцелярским ножом страницы дореволюционных изданий. На Читателя соседи заявляли в милицию, но ему сходило с рук, хотя книгами пахло на весь коридор.

Марселью было тринадцать лет, когда он случайно познакомился с Читателем. Мама зашла условиться с электриком, еще живым отцом Читателя, по поводу электросчетчика — надо было снабдить его «жучком», чтобы меньше платить за свет, — и взяла Арсения с собой. Пока взрослые договаривались за бутылкой, мальчики сидели в книжной комнате Читателя, еще не полностью заваленной томами. Читатель молчал, слегка улыбаясь от смущения да кося глазами, Арсений тоже молчал, но вскоре догадался снять неловкость вопросом: «У тебя тут много книг. Кто твой любимый писатель?» Он рассчитывал услышать в ответ, что Пруст или Набоков, потому что Марсель других писателей не знал, а этих мама читала ему вслух с рождения и всячески восхваляла. Школьной программой по литературе Арс пренебрегал и самостоятельно прочел только одну книжку — какой-то китайский трактат, подкинутый дядей Линею, да сотню-другую номеров журнала «Наука и жизнь». «Я всех одинаково ненавижу», — таков был ответ Читателя. Марсель удивился и ничего не спрашивал более. «Есть у меня одна любимая книжка», — добавил Читатель и, порывшись в библиогрудах, вытащил иллюстрированную книгу об огнестрельном оружии: пистолеты, ружья, винтовки, автоматы. «Здесь объясняется даже, как самому собрать пистолет», — сказал Читатель и открыл страницу с непонятным чертежом. Больше мальчики ничего не говорили, молча ожидая конца родительской попойки. В другой раз Марсель встретил Читателя два года спустя, у лифта: молодой человек с любопытством наблюдал, как опухшая супруга Костыля отковыривает от пола кафельные плитки и разбивает их мужу о голову; Костыль, распластавшись на полу, хрипел: «Я тебе печень вырежу, мразь!» Кафель крошился на лысой голове, как пирожное «Мадлен» в руках Пруста. Марсель кивнул Читателю и вместе с ним спустился на лифте, постыдившись при посторонних прыгать в мусоропровод.

12

Читатель был косоглаз, страдал одышкой, уже в пятнадцать лет обзавелся геморроем, в семнадцать мучился простатой, кариесом зубов мудрости и, кроме того, лютой перхотью головного мозга, потому что мысли его шелушились.

В свою четырнадцатую весну Арсений сначала воспротивился ехать в Коктебель, потому что с января гулял девятиклассницу, но потом вспомнил о добродетельной сестре Нине и согласился проведать серые срывы размытых гор.

Старая скамейка в кулуарах набережной, обращенная к морю, окруженная розовыми цветами: прежний оттенок ее почти сошел, остался лишь сиреневый ореол, но кое-где краска еще топорщилась аквамариневой корой, жухлыми стружьями цвета. Дети пришли сюда по виноградным улиткам, которых в этом году была тьма: улитки заполнили не только сады и парки, но даже набережную, так что иная хрустела под ногой Марселя, словно Николая Хруста наслушалась. Здесь, у подножия Карадаг, в полном безлюдье, в белой тишине курортного запустения, расточительно цветущего для двоих, кудрявая рыжая Нина учила Арсения цілуватися. Он слушал ее украинский говорок, запах ее дешевой туалетной воды, смешанный ветром с йодистым душком водорослей, и старательно повторял за Ниной полезные упражнения.

— Сміливіше, братик! Сміливіше!

Он, конечно, не забывал время от времени тискать ее шестнадцатилетние грудки под желтым шерстяным платьем, но делал это без особого интереса. Нина же, оседлав колени Арсения и крепко обхватив руками его голову, с азартом и надолго присасывалась к отроческому рту. Марсель был послушным учеником, хотя порой ему казалось, что язык Нины в три раза длиннее и куда норовистее. «Досить вже. Націлувалися. Я їсти хочу», — вдруг заявляла Нина, потому что во рту от голода заводился худой привкус.

Объявлялся антракт, и дети как ни в чем не бывало шли домой. Марселю даже в голову не приходило взять Нину за руку или вдруг поцеловать в неурочное время.

В Коктебеле мама хотя и пила с дядей Кузей, но никогда не делала скандалов. В худшем случае она среди ночи отправлялась к морю, потому что ее порой тянуло купаться в ледяной воде. Однажды она поплыла совсем нетрезвая, когда только-только сошел снег, и начала задыхаться в волнах, но Кузьма Давидович ее вытащил. Марсель с того раза боялся, что мать потонет. Тревога такого рода перемешивалась в его душе с похотью, потому что дети, оставшись одни, тотчас доставали видеокассету, плохо спрятанную Кузьмой в третьем ящике шкафа под брюками. Кино называлось «Кегельбан с Изаурой», и Нина с Марселем пересмотрели его раз сорок.

Тревога такого рода мешалась с песенками временно счастливой мамы, тревога такого рода пестрела первоцветами да первотюльпанами на холмах у могилы пиита. И мама пела, скапливая цветы в охапку:

Ми-и-иленький ты мой,
Возьми-и-и меня с собо-ой!
Там, в кра-аю далеко,
Буду тебе женой.

Ми-илая моя,
Взял бы я тебя-а,
Но там, в краю далеко,
Есть у меня жена.

Ми-и-иленький ты мой,
Возьми-и-и меня с собо-ой!
Там, в краю далеко,
Буду тебе сестрой.

Накануне отъезда из Коктебеля Марсель брал у сестры последний в том сезоне урок поцелуев. После нескольких дней такого рода близости с кузиной, чрезвычайно веселых (можно было подумать, что смотрят комедию) просмотров ритмичного кино и одиноких содроганий в нетеплой постели Арсений уже с большей ловкостью и напором целовал Нину и даже, с полусознательным азартом, подбирался к ее неизведанным скрытностям. Нина только поощряла его отчаянные попытки, но понимала, что Марсель к настоящей весне еще не вызрел. Конечно, она видела, что во время киносеансов Арсения становилось чуть больше, но сам он это пытался всячески скрыть и все бесстыдные намеки сестры на то, что можно было бы подыграть актерам, сводил к шутке. Но в тот последний вечер он распался так, что готов был уже сорвать с Нины платье. Черт знает в каких краях блуждали руки Марселя. Нине сперва было смешно, потом она покраснела и посерьезнела, поняв, к чему все идет. Даже Волошин, казалось, заразился их настроением, но был каменным, был всего лишь скалистым профилем: ему оставалось курить воспоминания, выпускать облака носом. Какой-то сторож недобро глядел на детей из окна запустелой базы отдыха. А Нина уже стонала под пальцами Арсения, но вдруг высвободилась, вскочила, оправила задранное к Максимилиановым небесам платье и, схватив брата за руку, повела вниз, к пирсу.

— Підемо, братик. Зараз я тобі навчу!

Усадив Марса на волнорез, Нина коленями встала на гальку, расстегнула Марселя и швидко та вправно докончила эти весенние каникулы.

Возвращаясь вдоль моря, они заметили серую кошку, что само по себе было удивительно: кошка на берегу; она подбиралась все ближе к волнам, прошлась уже по мокрым камешкам, чихнула, взобралась на большой валун. Вдруг она прыгнула в воду и поплыла. Кошка целеустремленно удалялась от берега — без оглядки, без сожалений.

13

Здесь изображена зеленая гневная Ветошница, она пляшет на трупе читателя, ее шею обвивает гирлянда из дохлых крыс. Четырехрукая Ветошница в каждой руке держит сумку, ее рот широко раскрыт, черный язык свисает до подбородка. Ветошница окружена парящими на золотых лотосах мусорными мальчиками с вздетыми рогатками.

Линь Цзэсюй в оны годы подарил Марсу игровую приставку, подключающуюся к телевизору, но тот был погублен Машметом и долгое время показывал тьму, в которой ничего не прыгало, не шло к победе, не выполняло по команде прыг-скок, не падало, не проигрывало, не всплывало унылой надписью «*Game over*». Все возобновилось, когда Линь привез новый телевизор — цветной и без деревянных боков. Линь тотчас подключил игровое устройство к телевизору, хотя мама протестовала, считая, что игры портят экран: «Вы мне кинескоп повредите своей чепухой!» — «Не сломась! Сета не сломась!» — возражал Линь.

Часами напролет, пока мама решала, сочиняла, рисовала и чертила домашние задания школьника, Линь и Марсель просиживали жизни возле экрана. Что там делалось внутри? Там короткие балки ехали снизу вверх. С пола торчали острые сталагмиты, с потолка зубились опасные сталактиты. Мусорным мальчишкам — Комару и Шаланку (Марсель тотчас их узнал), красному и зеленому — надо было остаться в середке, между зубов, прыгая с панели на панель и собирая лежавшие

здесь фрукты. Совместными усилиями надлежало собрать сотню плодов, но порой вместо них по спасительной платформе разгуливала кусачая крыса. Иногда места на балке хватало только одному, так что происходили стычки и столкновения. Набрав должное число бананов и клубничин, мусорные мальчики поднимались на следующий этаж, где платформы двигались еще быстрее и многие были покрыты скользким льдом. Марсель зачастую ронял мальчика на нижние клыки, а Линь нанизывал на верхние. Каждый мальчик имел по десять жизней, так что, проболтавшись на зубу пронзенным, изойдя кровью, он в конце концов падал на панель или был увлечен ею вверх, чтобы продолжить безумную битву с кошмарной буффонадой пространства.

— Хватит глаза портить и кинескоп! Пойди во двор погуляй! — сказала мама и отобрала у Марса джойстик.

Он как раз напорол Комара кишками на сталактит, оборвав его последнюю жизнь. К тому времени Арсений вдоволь напрыгался мальчиком, так что на этот раз решил обойтись без мусоропровода и по старинке прокатиться на подъемной машине. Единственная дверь грузового лифта, покряхтывая, медленно поползла в стену, а маленький тотчас распахнул створки. Марсель стал спускаться на грузовом, тогда как Арсений поехал на легковом, Марс передумал ехать и прыгнул в мусоропровод, а Арс побежал по лестнице.

Во дворе чудес его поджидали смурые гольфисты.

— Здравствуй, малой! Слышишь, я в тот раз мячик подобрал, а он у меня в руках раскололся. Как так? Ты, наверно, слишком сильно им стукнул, да? — сказал первый гольфист, а второй горестно добавил:

— Испортил ты, дружок, наш красный мячик!

— Что с тобой делать будем? Это же мой любимый мячик был. Мне другой такой не нужен, — сказал первый гольфист и присел на корточки, хотя рядом была чистая скамейка.

— Я не знаю. Мячик был цел и зелен, — ответил Марс.

— Как так, цел и зелен?! Слышишь, ты сам поразмысли: не буду же я свой любимый мячик портить вот этими руками, а? — возмутился первый гольфист и показал Марсу руки: кулаки были сильно разбиты, на пальцах поблескивали железные печатки, бледная наколка неясной аббревиатурой заползала под рукав.

— Малой, ты вот еще что: помяни, как мы тебя в тот раз выручили. Забыл? А ты после этого наши мячики безобразишь! — сказал второй гольфист.

— Так это же до того было! — возмутился Марсель.

— А! Все-таки было! — обрадовались гольфисты, повернулись друг к другу, взяли за руки и захохотали, запрокинув некрупные головы.

— Слушай сюда! Пойди сейчас, нет — бегом побеги домой и поищи-ка дома лыжную смазку в красной фольге, понял? В шкафу, где инструменты лежат. Есть у вас дома такой шкаф? — сказал гольфист № 2.

— А зачем вам смазка? — любопытствовал Арс.

— Узнаешь, зачем нам смазка, когда принесешь ее на пустырь, где турник стоит. Добудешь брусок смазки, простим тебе наш зелененький мячик. А не раздобудешь — пеняй на себя! Начнутся у тебя критические дни! — сказал первый гольфист и плюнул себе под ноги.

— Смотри же, не бери в зеленой фольге! И чтоб через сорок минут был возле турника! — крикнул один из них вслед уходящему Арсу.

Марсель направился домой в смешанных чувствах: правду ли говорили гольфисты? раскололся ли мячик? поменял ли цвет? Так или не так, но ему было любопытно, зачем парням понадобилась лыжная смазка в красной фольге; он помнил, что таковая и впрямь лежит в шкафу с инструментами.

Дома Линь стряпал какую-то бесподобную китайщину, и мама была увлечена поварским ученичеством, так что в шкафу Арсений рылся беспрепятственно. Верхняя полка шкафа явила изобилие: прямоугольные брусочки лежали один на другом, поблескивая, словно слитки благородного металла. Недолго думая, Марсель набил карманы, покинул квартиру и сиганул в мусоропровод. Через двадцать минут он был на пустыре возле турника.

Гольфисты уже играли в гольф, когда приспел Арсений. Здесь же обреталась молодая особа; одежда на ней была мужская и по моде воронежского гольф-клуба: те же олимпийка, штанишки, рдяная восьмиклинка. Когда Марсель подошел, девушка развязно улыбнулась и махнула ему рукой. Он заметил, что ни блузки, ни бюстгалтера на девице нету.

— О! Какие люди! Что, принес нам сказочку, дружок-пирожок? — дружелюбно обратился первый Марсель к Гольфисту — виноват, наоборот.

Марсель достал брус и подал Арсению, а тот вручил его гольфистам.

— Молодец! Теперь снимай штаны и наклоняйся! — сказал № 2, надменно склабясь.

— Смотри! Смотри на него: пугаться уже решил! Не бойся, малой, для этого дела у нас Мартышка есть. Да, Мартышка? А ну-ка, Мартышка, повиляй хвостиком! — сказал Number one.

Повернувшись, человекообразная, впрочем, симпатичная девушка изобразила вилянье.

Меж тем смеркалось, окна домов затлели желтым. Number two стянул с себя олимпийку, майку и аккуратно повесил их на перекладину турника. Оставшись при своем мохнатом туловище, под левой лопаткой которого была вытатуирована синяя мишень и увещательная фраза «Смотри, чекист, не промахнись!», он галантно обратился к молчаливой особе:

— Мартышка, будьте доброй обезьяной, смажьте-ка мне спинку хорошенечко.

Мартышка подцепила фольгу длинными коготками, отцепила небольшой кусок смазки и принялась втирать его в мишень второго номера, услужливо сияя зубами веснушчатого лица. Первый уже стоял в очереди, но в одних трусах. Разделавшись со вторым, обезьяна-женщина приступила к первому, но тот был требовательней: заставил ее массировать ступни, освобожденные от длинноносых туфель, носков и целлофановых пакетов (было пасмурно и сыровато). К тому времени второй уже вращался на турнике. К нему подоспел номер ван, и двое завертелись солнцами в противные друг другу стороны, восторженно горлопаня. Соскочив, они стали перемещаться в пространстве пустыря, то приближаясь к Марселю и сиявшей девице, то отдаляясь от них. Арсений подметил, что гольфисты не отрывают ног от земли, но скользят, как на лыжах, причем ловко, легко и проворно — слалом. Никакие препятствия не были страшны им: они скользили, скользили, скользили — вокруг скамейки, дерева и турника.

— И получше ей мячи намажь! Не стесняйся, она у нас коллективная! — заорал один из — теперь их нельзя было отличить — гольфистов, приблизившись к Марселю вплотную.

Марсель взглянул на девушку: та оскалилась, расстегнула олимпийку, откинула выбеленную перекисью водорода косу и выпрямила спинку, преподнося Марселю крупные молочные округлости. Он взял немного смазки и робко дотронулся до ее левой груди. Мартышка вздрогнула и улыбнулась: «Холодно». Она взяла его руку и прижала сильнее.

Через пять минут обезьяна скоростно бороздила пустырь, покинув Арса. Недолго думая, Марсель стянул рубаху, смазал сам себя и тотчас присоединился к скользунам. С огромной быстротой он описывал странные линии, словно двигался по

магнитной ленте в воздухе между высоток, как будто бы воспроизводил свою детскую игру. Перемещаясь, он видел, что гольфисты вновь принялись за свое: один ударил по мячу, и тот полетел, оставляя за собой дымный самолетный след, потом стукнулся о стену отдаленного дома и рикошетом возвратился назад. В другой раз мячик отлетел от стены дома № 38, угодил в крышу железного гаража и прыгнул вверх, к луне; ахнувшись о скорбноликий спутник, мяч вернулся к гольфистам — бинго!

Спустя время Арсений очнулся. В неярком свете звезд он увидел гольфистов, Мартышку, скамейку, турник и деревья. Один гольфист материей повис на турнике, другой был перекинут через спинку скамьи, а Мартышка валялась на земле, свернув голову набок и растопырив раздвинутые ноги окоченелой рогатиной. Арсений лежал на почве; он с ужасом отметил, что его правая нога ненормально вывернута и все конечности разучились шевелиться. Он хотел закричать, но с губ сорвался жалкий стон. Повешенный на турнике гольфист дернулся и пробормотал: «Два часа не сможешь. Не думай о зеленом».

14

Здесь изображен зловещий Заратустрица. Он черного цвета и четырехрук, он держит следующие предметы: пузырек сиропа, дирижерскую палочку, рупор и связку проводов. Соединившись в сакральном соитии с Галиной Ивановной Уствольской, Устрица восседает на розовой шкуре мальчика-поросенка. Слева от него Берг на белом слоне, справа — Шёнберг на голубом лотосе.

Третья школа Марселя и впрямь оказалась третьей — школа № 3. Здесь ему суждено было закончить девятый класс — он проскользнул его, надо сказать, как по хорошо накатанной лыжне, так что даже вылетел вон из школы, чему споспешествовал директор, вдоволь насмотревшийся на эквилибристику Марселя. Ведь он скатывался по перилам примерно в пять раз быстрее, чем другие школьники, превышая допустимую скорость; Арсений махом стирал все формулы с доски, скоком втемяшивал мяч в баскетбольную сетку, а порой сам в нее запрыгивал прыгом, но в конце дня его находили скрючившимся крючей в углу класса — там Сений сидел подолгу, покряхтывая кряхом и стоном стена. Мама, которую часто вызывали в школу, искренне заверяла, что ребенок не высыпается: «У него жуткий недосып», — говорила мама, повергая учителей в скептицизм. В конечном счете его перевели на особое обучение: преподаватели занимались с ним индивидуально.

— Сардина Гарольдовна, а вы на лыжах ходите зимой? — спрашивал Марс учительницу математики.

— А что?

— Да мне смазка нужна лыжная в красной фольге. Таковую больше не продают.

— А зачем тебе, дружок, лыжная смазка в мае?

— А затем, чтобы лыжи в шкафу не засохли — надо бы промазать их на лето. Я же страстный лыжный ходок, вы не поверите, Сардольдовна, фанатик своего рода.

Марсель очень редко появлялся в школе, но если приходил, то всегда пользовался случаем, чтобы подразнить свиных одноклассников; он выводил их из себя ярко-лиловым цветом волос — так тореадор раззадоривает быка, так говяжь консервы действуют на нервы заезжему брахману. Даже мама не одобрила сиреневый окрас, но Марс не был уже управляем, порой он подходил на перемене к коротко стриженному мальчику и, сделав у себя на ладони замысловатый надрез бритвой, спрашивал: «Узнаешь иероглиф?» Заратустрица стал его лучшим другом, они всюду ходили

вместе, они всюду бродили вместе, они вместе отбивались от шпаны и слоняли слоняны, кроме того, раздевали девочек, поили их сиропом да мазали смазкой. А затем выставляли полуобнаженных на лоджию, чтобы издалека можно было наблюдать их вымазанные смазкой и оттого будто фосфорные, светящиеся груди.

Как-то раз Устрица перепил малинового, перемазался лыжной, перебрал сидру да еще и выкурил две необычных папиросы, после чего во дворе чудес у него пошла пена ртом. Карета «скорой помощи» забрала Устрицу в больницу. Когда Марсель узнал об этом, он тотчас отправился на розыски друга и лишь под вечер выискал его в обшарпанном и мрачном боксе, где Устрица, словно бы лишенный всего жемчуга, лежал под капельницей. Арсений всплеснул руками, а Сеня охнул и взвыл «Марсельзу»: «О, дети родины, вперед!», ведь его друг находился здесь, в скорбном лазарете, распростершись на лежбище недуга. Встанет ли он однажды? Проскользнет ли беспечная улыбка по его шишковатому лицу? — лишь капля падала из склянки, лишь питающая влага струилась в вену по трубке — более движения не наблюдалось. Марсель замер, закрыл глаза и взмолился Господу миров: «О, великое Существо, спаси Устрицу!» И тогда Заратустрица открыл глаза и произнес: «Глубокий сон сморил меня, из сна теперь очнулся я! Что они со мной сделали?!» Марсель пытался уговорить его не шевелиться, но Зарат вскочил и, взяв капельницу, опасно мотавшую склянкой, пошел в больничный коридор. «Куда ты намылился? Тебе надо лежать!» — умолял его Асур. Куда там! — не найдя никого на сестринском посту, Заратустрица самостоятельно выудил иголку из вены и опрокинул капельницу на пол — получился шикарный грохот, склянки — дзинь-дзинь! — разбились. «Бежим отсюда куда-нибудь к черту!» — сказал Зарат. Употребив окно, ребята вылетели со второго этажа в кустистый больничный двор. Так Заратустрица бежал из больницы в сумерках и в тапках.

Смазанные, они скользили по городу, сбивая с ног прохожих, и никто бы не смог угнаться за ними — так скользко было Марселю и Заратустрице; они скользили по улочкам среди одноэтажных домишек, среди праведных забулдыг, среди дохлятины кладбищ, скользили по заблеванным фасадам домов, по черным лестницам, выскакивали пулями на крышу, они заскальзывали в пабы и намазывались еще, они витали над крышами, созерцая Уствольскую, — это была Истинная и Вечная благодать; испарившись, они клубились лиловыми тучами над площадями, sprыскивали ядом шляпы и волосы прохожих, в то время как оркестр города купался в простейшем до-мажорном созвучии.

* * *

Вскоре комната Устрицы превратилась в смазочную станцию: множества приходили сюда, чтобы причаститься скольжению, в том числе девушки и женщины, правда, Марсель их поползновения манкировал, ограничиваясь тем, что лобзал и смазывал их юные перси — в этом деле он стал настоящим умельцем. А что касается приличествующей его годам вождеденной цели, для которой набралось немало кандидатур, то здесь Арсений осторожничал и не спешил, а виной тому был трактат и комментарии к нему, какая-то китайская книжонка — ее некогда привез Цзэсюй. Он частенько притаскивал случайные книги, переведенные с китайского языка и непереверденные, даже иероглифический «Капитал» имелся в доме, ведь Линь в душе был коммунистом. Но Марсель заинтересовался кое-чем другим: красивая пагода выгибалась крышами на обложке, здесь также были драконы и колонны, все красненькое, какое-то пасхальное. Книжка называлась «Даосская сексуальная

алхимия», и Марсель, прочитав ее с необычным воодушевлением, внял советам и решил блюсти сохранность семени. Марсель понял, что недостаточно лыжной смазки, сиропа от кашля и сидра, — надо решительно изменить свою природу, раз и навсегда стать бессмертным, как описано в книге: чтобы зрачки удвоились, чтобы покрыться чешуей, чтобы летать в созвездиях, чтобы однажды не вернуться назад, в дольний мир неисправимых свиней. Отличная книжонка, хорошая метода: в печени пребывает дух человечности, в селезенке — воля, а в почках — само собой — порождающая энергия. Кто, если не Старец с речного берега, поможет тебе разобраться в каверзах бытия, когда на дворе и в органах пубертатный сезон? Хватит салютировать жизнь в канализационный слив, надо копить силу и раздвигать зрачки, созерцая солнце на восходе и полнолуние в облаках. Марсель все реже мазался лыжной смазкой и, дабы соки потекли вспять, стал постигать сакральную гимнастику — цигун и йогу. Ведь в полостях, что расположены вдоль позвоночника, обитают три чудовища — вот из-за них-то и растрачивается драгоценный нектар, который надобен для того, чтобы развился священный зародыш, священный зародыш. Владелец такого зародыша обретает бессмертие и может летать к луне, к солнцу, к высшей чистоте звезд — это называется трансмутацией (Галь, прости: не знаю, как перевести). Прогони чудовищ, прекрати транжирить семя попусту, сердцем стань как остывший пепел, телом — как сухое дерево и лети себе выше гор, выше Волошина. Марсель хорошо понимал, что немногим удалось завершить предприятие, но решил держаться стойко; пускай его будет снова и снова отбрасывать назад — однажды невыполнимое осуществится. Таким способом, впрочем, не со зла, Марсель терзал девочек, алкавших его загорелой мальчишеской плоти.

В комнате Заратустры образовалось нечто среднее между салоном и притоном, где юным барышням-прогульщицам в обнаженные груди втирали лыжную смазку, и те занимались бледным фосфорным сиянием, когда, выпив по три флакончика малинового сиропа с гидробромидом декстрометорфана, мальчики гасили свет и включали «Просветленную ночь» Шёнберга. Девочкам не нравилась такая музыка, но они терпели ее и принимали в себя Устрицу, хотя мечтали о Марселе, но тот сохранял недостижимость.

Частенько Марсий замечал близость падения, когда стонущая нимфа уже была распластана им на полу или стыдно рдела в Устрицыной ванной, готовая и просящая, тянущая ручки к его многострадальному, стойкому уду, ежедневно терпящему холода и выморозки, мятные примочки, ночные перевязи, лишения и лишения, — и тогда он говорил: «Прости...» Он покидал ее, изнемогшую в корчах страсти, наскоро объяснившись. Как-то раз одна девица — Адель — не выдержала, лопухая такая, стеснявшаяся ушей, крившая их волосами, остальное все в ней было замечательно — так вот, не выдержав, она, скромница, застенчивая отличница, хотя, что греха таить, спавшая со многими уже в свои четырнадцать лет, не стерпела и передала Марселю записку. Протицируем же дословно это письмишко:

юношеский максимализм, ряженный под даасизм — кого ты хочешь наипать, Марсик? ты дитя! все знают про это преклонение перед востоком и т. п. и все эти твои киношные выкрутасы и прочая. ну накачался вот лыжной смазки, начался буддизму с уклоном в алхимическое порно, что лучше может оттенить личность беспокойного лузера? а ничего путного предложить девушке не смог, кроме бараньего стремления упасть рогами вниз пропасти, вообще вначале метаний уже можно считать инвольтировался. Тебе до даоса — как пешком до Стамбула! поступок твой позорен не в плане способа а в плане причины. в психиатрии это называется нискуя, ака точка манифестации. ты педик, Марсель, мертвый и узколо-

бый фанатик. И у тебя начинаются глюки на эротической почве. Эти два фактора выгесняли друг друга и случилсо коллапс. тыщ! клоун, юридивый — но не даос, о нет.

«Чуть было не переспал с такой хрюшей!» — подумал Марсель, вздрогнув. Он порвал записку на клочки, отворил окно... а там, не надеясь на верный ветер, караулила Ветошница — страшная харя: она давно дожидалась нового лакомства; распахнув пасть квартала, старуха втянула в себя канализационными люками, выхлопными трубами, провалами судьбы, дырами духовного краха, всеми пустотами города, — втянула клоки и, пережевав их, переварив хорошенечко, выблевала в сумку.

15

Убить читателя — это как отправиться в Воронеж сегодня, а прибыть туда вчера.

Был ли связан с опиумными войнами некий наугад взятый предок Дзэсюя? — вопрос на засыпку, прямо-таки каверза, интрига. Может быть, имели место мистика, оккультизм, необъяснимое? Во всяком случае, небезызвестный Ван Го, приходившийся Линь Цзэсюю далеким предком, как-то раз влип в историю. Было это некогда, когда то-то, кто-то и что-то...

Можно подумать, что солнце, когда оно в зените, ближе к земле, чем на исходе дня, ведь свет его столь ярко, что ослепляет глаза, если ты не бессмертный и зрачки твои не удвоены. Справедливо и обратное: солнце ближе к земле на закате и восходе, когда выглядит особенно большим.

Красавицу, тонкую, как вкус белого чая, сидевшую наяву близ ручья, сильней всего на свете занимало солнце. Ее лодыжки, запястья и шею обвивали серебряные змейки, их красные язычки подрагивали и прятались, подрагивали и прятались, а в волосах красавицы Ли свернулась кобра.

Ее занимало солнце — немудрено, ведь Ли больше десяти лет не видела его.

— Что за красавица сидит у ручья? — спросил Ван Го у И Цзе.

— Не подходи к ней! Это Ли, она рожает змей и убивает лис. Уйдем отсюда! — взмолился И Цзе.

— Расскажи о ней, — упорствовал Ван Го.

— Слушай же и ускоряй шаг! Случилось, что одноухий сошелся с одноглазой девой. На тридцать третьем году беременности одноглазая разрешилась-таки большим яйцом и в тот же день отошла к предкам. Еще три дня лежало яйцо в сыром чулане под слоем паутины, пока его не съел уж. Съел да и засох в заводи Желтой реки. Его кожа смешалась с лягушачьей икрой и превратилась в личинку. Личинка долго колыхалась на поверхности воды, пока не заплесневела. Трехтонный сом поел ту плесень и выбросился на берег. Десять волов тянули рыбину до деревни, три деревни ели сома. А когда женщинам тех деревень пришло время рожать, разрешились они мертвыми девочками.

Только одна увидела солнце — Ли.

С детства Ли славилась чудесным умением доставать из глубоких нор подземных собак Цзя и лисиц. Дикие звери ее не трогали, тело ее было гибким и скользким, как тело змеи. У красавицы были зеленые блестящие глаза и белые груди с тремя сосками на каждой.

Она была еще девочкой, когда разбойник Чжи разорил и предал огню их деревню. Чжи забрал с собой лучших женщин, остальных же людей предал земле заживо.

Равнины и горные ущелья, долины тихих рек и леса с дикими зверями проносились мимо Ли, и не знала она, где конец ее пути. Разбойник Чжи заставлял ее

доставать из нор подземных собак Цзя и не боялся оставлять красавицу на ночь в своем шатре.

Как ни старался Чжи, детей у Ли не было, только серебряные змейки порой выползали из ее чрева и кусали разбойника. От пьянящего яда у Чжи бывали видения, которые длились по три дня.

Красавица не любила разбойника и тосковала. Кожа ее темнела, глаза тускнели.

Однажды шайка Чжи шла мимо Рыбьих холмов по месту сожженной деревни, где была родина Ли. Красавица узнала родные места и затосковала. Она увидела старый колодец и обратилась к разбойнику Чжи:

— Я хочу пить из этого колодца.

— Разве ты не знаешь, что нельзя останавливаться у сожженных деревень? — отвечал Чжи.

— Ты не помнишь, что здесь был мой дом? — настаивала красавица.

— Ты лжешь! — воскликнул Чжи и зарубил мечом ближайшего разбойника.

Тогда Ли бросила за ворот Чжи одну из многочисленных змей, что вились на ее руках. Укушенный разбойник убил своего коня и принялся брызгать кровью и метать куски мяса направо и налево. А Ли тем временем бросилась в колодец.

— Ты говоришь, что красавица бросилась в колодец, но она сидит сейчас там, у ручья. Как такое возможно? — спросил Ван Го.

— Я вижу, ты падок на разных ведьм! Тогда походи и спроси у нее сам! — воскликнул И Цзе и ушел восвояси.

Ван Го воротился к ручью и робко обратился к Ли, созерцавшей в забвении солнце:

— Скажи, красавица Ли, правду ли говорят люди, что ты умеешь доставать из нор подземных собак Цзя и рожаешь змей, что тебя похитил разбойник Чжи и ты бросилась в колодец? Не разгневется ли красавица, если Ван Го спросит, как ей удалось выжить в колодце?

— Скажи, Ван Го, разве ты глухой и не слышишь звонкую флейту солнца? Или ты назло портишь музыку своим жалким щебетом? — отвечала Ли, а кобра в ее черных волосах выпрямилась и зашипела на Ван Го.

Но голос Ли был так благозвучен, что Ван Го готов был умереть от укуса кобры, только бы услышать его еще раз.

— Поведай мне, прекрасная Ли, что стало с тобой в колодце, а потом можешь выпить мою кровь! Лучше всех флейт поднебесной твой чистый голос! — взмолился Ван Го, склоняясь перед Ли.

— Если так, то слушай, но знай наперед, что рассказ мой для простых людей хуже яда кобры. Увидев земли своей несчастной родины, я в отчаянии бросилась в колодец и лишилась чувств от страха. Очнувшись, я поняла, что все еще падаю. Со всех сторон на меня смотрели пронесившиеся мимо и светящиеся красным огнем глаза подземных собак. Наконец я упала в жидкую грязь и чуть не захлебнулась, но чья-то рука вытянула меня за волосы на воздух. Это был Наставник в Тростниковой Накидке. Он обучил меня питаться слизью со стен колодца и вдыхать пары иловых испарений. Глаза мои стали видеть в темноте, и я разглядела Наставника: у него было по два квадратных зрачка в каждом глазу и уши на темени. Я поняла, что он бессмертный.

— Скажите, Наставник, как мне выбраться из колодца? — осмелилась я спросить спустя три года учения.

— Подлинно ли твое знание о том, что есть куда выбраться?

— Извольте повторить?

— Спроси через три года, — ответил Наставник.

Я не знала, как мне определить, прошло ли время, назначенное учителем, но как только я поняла, что умею видеть землю насквозь и взору моему доступны переплетения самых мелких корешков, я вновь обратилась к нему:

— Скажите, Наставник, возможно ли попасть в иное место, чтобы применить знания, переданные вами?

— Сначала вырасти в себе младенца, чтобы у меня остался ученик.

Наставник в Тростниковой Накидке слепил зародыш из грязи, вложил в него дыхание и передал его мне. К тому времени я уже могла видеть с закрытыми глазами, отличать аромат прибывающей луны от аромата убывающей и дышать поверхностью тела, а не легкими. Когда младенец научился выговаривать священный слог, я вновь обратилась к Наставнику:

— Я хочу увидеть солнце. Как мне быть, учитель?

— Хорошо. Взбирайся по моей пуповине.

Я распрощалась со своим младенцем (он уже успел покрыться чешуей и буравил землю, что собака Цзя) и ухватилась за пуповину. Целый год я взбиралась наверх, питаюсь по пути слизью со стен колодца да изучая сокровенные письмена, оставленные учителем в конце эпохи Большого Пирога, когда люди, населявшие землю, вкушали съедобную почву, пока не съели ее всю. Тогда им пришлось выращивать рис и учреждать государства. Наставник в Тростниковой Накидке отверг падший мир и спустился на пуповине в колодец, ногтем выцарапывая на стене учения древних.

— О, прекрасная Ли, если ты говоришь правду, Ван Го отдаст свой язык за то, чтобы побывать в том колодце у Наставника в Тростниковой Накидке!

— Но ты уже должен мне свою кровь, Ван Го, разве ты забыл? — сказала красавица Ли, превратилась в красную змею и бросилась в ручей.

Ван Го остался наедине с солнцем, что выглядело особенно большим на своем закате.

16

Сам того не зная, Марсель был счастлив теперь, в эту минуту, и так могло бы продолжаться дальше: Арсений, Лика, стрижи, весенние лучи солнца на кирпичной стене общежития, беззаботные арабы с килограммами йеменского гашиша, легкость в сердце и смех в голове... так бы продолжалось дальше, если бы авторучка не натворила бед, если бы не потекли чернила и не затопили бы все это: арабов, Лику, Арсения, стрижей и стены — тьмой нестираемой кляксы. Так или не так, но пишущий от руки с неизбежностью становится шотландцем: его обрекают на это клеточки тетради.

Но кто такая Лика? Кто она, Гликерия? Словно сироп от кашля, словно гликодин, она появляется вдруг, без спросу, как последняя болезнь, как первая любовь, как остроумная выходка. Ее нет, и она есть. Она сама выбрала себе имя? Или это чай, одурманивший сознание писателя, выбрал его? Может быть, родители? Та стокилограммовая махина, привечавшая Марсению в деревне и поившая его вишневым самопальным вином, когда он, скромный, явился в Бессоновку, что под сумеречным Белгородом — городом, где ископаемо торчал памятник Марксу и Энгельсу, смеша заезжих долгими бородами, — эта ли мать нарекла Лику Ликой? О да, они явились в Бессоновку, а потом ездили в Крымскую Татарию к дяде Кузе, и все на попутных тракторах, фурах, телегах, или, как говорят на диком Западе, автостопом. Лика научила путешествовать бесплатно. Но кто такая Лика? Who is Лика? Она стояла на красных лыжах в центре танцплощадки, яростно размахивая палками, как ниндзя. Мигал стробоскоп, горели

неоновые лампы, так что все зубы светились, делая эту ночь чеширской. Многие здесь плясали в лыжных шапочках-петушках, тут и там болтались уши ушанок; падал искусственный снег, светясь голубо. Марсель вертелся всем корпусом вокруг неведомой оси, удерживая равновесие на лыжах, — вперед, вбок, назад, вбок, вперед; его лыжи перекрещивались с чужими лыжами, так что покинуть танцплощадку не представлялось возможным: все крепко сцепились. Она выделялась среди танцующих лыжниц: угловатое, приятное лицо, бордовой помадой подведенные глаза и губы, под нижней губой — игла, похожая на турнирную пику рыцаря; длинная красная водолазка ее с вышитыми поперек груди словами «Жизнь прекрасна!!» задралась в неистовом танце так, что из-под нее торчали смешные бабушкины кальсоны, украшенные стразами; особенно удивляла прическа: короткие, взъерошенные дикобразом волосы ярко-красного цвета, на висках — пейсы. Арсений был очарован и, ловя взгляд незнакомки, вскоре добился — посмотрела желтыми линзами очей: в каждом глазу у нее был «смайлик» — ослабленная физиономия, так что девушка улыбнулась Марсу не только ртом и глазами, но ртом и глазами глаз, причем дважды — по одной желтой улыбке на каждое око ☺☺. А белки ее были голубоваты, потому что Лика пользовалась голубящими каплями «Иппоха». Жовто-блакитні очі. Досадливый мужчина, похожий на Ивана Сергеевича Тургенева, нервно курия и колобродя, то и дело загораживал девушку. Марсель нетерпеливо отодвинул его лыжной палкой. Тем временем диск-жокей Заратустрица все быстрее и жестче раскручивал пластинки: отгремев Берга, положенного на дарк-степ, он принялся терзать Нектариоса Чаргейшвили, перемешивая его балет «Три года Добрынюшка стольничал» с зубодробительным брейк-битом. Устрица добился своего — добрался-таки до публичных выступлений, до музыкального пульта, постепенно сведя знакомство со всеми ночными людьми города. Шестнадцатилетний диск-жокей произвел фурор среди ночников, громыхая ни на что не похожими звуковыми гибридами. В этот раз была закрытая вечеринка: пускали по пригласительным билетам и только в костюме лыжника. И все же в здании завода «Электросигнал» собралось несколько сотен лыжных леди и джентльменов, и немало черни, желая войти, толпилось у входа — в спортивных трико, олимпийках и кепи, но таких не пускали; кто знает, быть может, среди них были гольфисты? Марсель принес с собой много лыжной смазки и раздавал ее друзьям и знакомым, но вскоре ему стало плохо с сердцем: оттого ли, что Арсений слишком буйно вертелся на лыжах, привлекая незнакомку, оттого ли, что явился сюда после трудной и долгой ангины, оттого ли, что перемазался смазкой, оттого ли, что был ранен в сердце. Так или не так, но Арс теперь сидел на подоконнике, обхватив лыжи. Никто на него, дышащего тяжело, не обращал внимания, даже Заратустрица, отлучившийся от музыки подышать и покурить, идя мимо, сказал только: «Ничего, пройдет! Может быть, тебе сиропу выпить?» Марсель не ответил на его реплику, он вознамерился ехать домой, а денег на такси не было, а Шустрица уже скрылся, а сердце — тебе не хочется покоя — все ныло и перебойно колотилось. «Жизнь прекрасна!!» — прочитал Марсель прямо перед собой. Две приятные округлости, выпиравшие надпись, подтверждали ее. Барышня глядела и косо улыбалась, бледный Марсель улыбнулся в ответ половиной рта. «О, ты тоже улыбаешься одной стороной!» — сказала девушка.

* * *

«Да, именно в четверг вечером на танцульках я увидел ее в первый раз...» — так бы мог начать свой роман Марсель, если бы стал писать. Где? На чем? Не

в крымской степи на взморье, не в тени библиотек, не в зеленых тетрадах; Марсель прямо теперь мог бы расписать, к примеру, покрывало, на котором завис между небом и землей, но руки заняты цепляньем: в окно, в окно стремится Марс, как испанец, как пятнадцатилетний идальго, как сочинитель сонетов. Главное — крепко уцепиться за парашют, главное — вздохнуть громче и броситься в объятия Лики. Чтобы остаться ночевать в общежитии, Марсель пользуется благодушием шитов: те, сильнорукие, обкуренные гашишем чужеземные студенты, смешливые толстяки, влекут его вверх — его, ухватившегося за шершавое покрывало. Самолетик с помадными губами на крыле — воздушный поцелуй, истребитель «Чмок-29» — вылетает из ближайшего окна, чиркает Марселя по щеке, искушает его другой женщиной: а что если завести еще одно знакомство? Внеплановый адюльтер, двойная любовь в общежитии, Казанова, случайные связи, открытый перелом ноги, раздробленная пятка. Но вдруг налетает буря, находят тучи, обрушивается гроза с градом, самолет бомбардируют крупные капли, градины — крушение, катастрофа, Марсель успевает оглянуться, протягивая руку коричневой руке сарацина, — самолет на лету переставляется в кораблик и падает в лужу невредимым. Но старуха уже подгребает его клюкой и прячет в бюстгальтер, в духоту отцветших грудей.

17

Здесь изображен Марсель, красный и гневный; он пляшет на трупе читателя, шею Марселя обвивает гирлянда из человеческих голов. Марсель натягивает тетиву лука цветочной стрелой. Слева от него восседает на золотом лотосе Устрица, справа Нина совokuпляется с белым слоном. Внизу под Марселем мальчишки-поросята горят в адском пламени.

В те времена, когда появилась в его жизни Лика, десятиклассник Марсель обучался в вечерней школе (МОУСОШ № 11), куда выскользнул из предыдущей, третьей учебницы. Вечернюю можно было посещать по желанию, но рекомендовали бывать на уроках хотя бы два раза в неделю, чтобы переписывать решенные контрольные работы и недиктованные диктанты. Я, автор этих строк, учился с Марселем в одном классе, точнее, училась, потому что тогда я была девушкой, меня звали Александра Смольская. Предпочитая высокие каблуки, я громко цокала ими — вот так: цок, цок, цок; этими каблуками я совратила директора гимназии, из которой меня за сей проступок сразу исключили; шутка ли — обесчестить мужчину каблуком на глазах его пьяной тещи? В вечерней школе у меня появилась уйма свободного времени, я стала беспорядочно читать и вскоре увлеклась тибетским буддизмом школы ньингма. Постигнув практику осознанного сна, я начала развивать иллюзорное тело, помимо этого, я овладела обогревом туммо и вскоре могла даже зимой ходить по улице в одном платье, без нижнего белья. Узнав, что сам Татхагата сначала отказался проповедовать женщинам, потому что понимал, что из-за них его учение просуществует на пятьсот лет меньше, я весьма опечалилась, ведь мне хотелось достичь просветления уже в этой жизни. Взвесив все за и против, я решила сменить пол, о чем до сих пор не жалею. Спустя время в пещерах Лхасы, занимаясь воспоминанием своих прошлых воплощений — особой духовной практикой, я вдруг открыл в себе способности ясновидения и воссоздал в уме всю жизнь Марселя и даже отдельные эпизоды жизни некоторых его предков. Мой духовных наставник Чоки Зангпо велел мне отправиться в Коктебель, чтобы записать здесь эту

повесть; когда меня накрыло, накрыло тенью дельтапланериста — тогда я и начал записывать во имя Будды, Дхармы и Сангхи, во имя просветления всех живых существ. Архаты, ваджрные богини, бодхисатвы-махасатвы, хранители Учения, гневные цари десяти сторон света, дакини, тары, наги, пратьекабудды — все поддерживают мое письмо, даже дельтапланерист завис в воздухе над головой, даруя спасительную прохладу.

Хочу отметить, что в школе Марсель мне совсем не нравился, и я ему, судя по всему, тоже, ведь он даже не глядел в мою сторону. До того это равнодушие и невнимание дошло, что мы зрительно перестали замечать друг друга и как-то раз со всего духу столкнулись лбами на лестнице — вот так: бах!! бум!! — как в комиксах. И далее ничего более: разошлись в разные стороны, потирая ушибленное, но в пещере Лхасы я вдруг вспомнил о том столкновении — что-то тогда случилось со мной непоправимо важное, ведь как раз на другой день после этой аварии я приняла решение сменить пол. Папа был против и отхлестал меня ремнем, как маленькую: поднял юбку, спустил трусики и отодрал ремнем по попе — вот так: хлясть! хлясть! хлясть! «Что бы сказала твоя мать, если б узнала, а?!» — кричал отец. А что бы сказала моя мать? Пожалуй, она бы злобно расхохоталась, плюнула бы, рыгнула бы, потом бы открыла одну из своих многочисленных сумок, вытащила бы изувеченного плюшевого мишутку — без глазок, без ушек, и подарила бы папе. Мать моя давно колобродила, околачивалась, ошивалась, добровольно и радостно нищенствовала на улицах да в подвалах: она распухла, состарилась и запаршивела, она сошла с ума решительно и бесповоротно. Врачи ей уже не могли помочь. Однажды мать сгребла в пять сумок разный домашний хлам, большей частью мои детские игрушки, тряпье и ветошь, и пошла вон из дому; напоследок мать сказала: «Зуй вам, родственнички, бе-бе-бе!!», захохотала, разрубила кухонным ножом белую крысу Альберта и скрылась, жуя лысый хвостик. Много лет подряд она боялась, что ее отравят: я ли, отец ли, сестра ли — кто-то из нас, и вот наконец не выдержала и ушла. С тех пор она всюду таскает с собой огромные сумки с рухлядью и не желает возвращаться домой. Иногда ее можно встретить на барахолке, где она продает по баснословной цене свою никчемную ветошь.

Вы спросите, где я совершила приращение? На какие средства? Я же отвечу вам, благородный читатель в дырявых калошах, что выкрала деньги у папаша: он хранил некоторые сбережения в гузне плюшевого гиббона. Этот был семейным талисманом, и мать, до тех пор пока не рехнулась, просто называла его царем обезьяньим, а потом стала на коленях молиться подле него, кланялась ему в пол и осеняла себя крестным знаменем, поворотившись к человекообразному. Так вот, украли я, значит, папины денежки и рванула в Москву; разыскав клинику, я так и спросила без обиняков: можно, говорю, здесь вот приделать известную вещь, а тут вот слегка сгладить излишки. Мне говорят: без проблем, наука все может. Как только выписалась я из клиники, подалась, подался напрямки в Петербург, в дацан Гунзэчойнэй к Буде Бальжиевичу. Принял прибежище и вскоре махнул в туманную Лхасу упражняться в туммо.

Иной раз читаешь роман — и непонятно, откуда автор знает, как оно все было на самом деле, особенно если повествование ведется от третьего лица. Грешным делом думаешь, что писатель выдумывает, сочиняет, шалит. Может быть, так оно и есть в случае какого-нибудь Жандра или Грульёва, но мне до этого дела нет никакого, я ничего не сочиняю — не умею; я вспоминаю чужое существование: здесь, на месте гибели волосатой гусеницы, под тенью дельтапланериста, на взморье, напившись гусеничного чая, расфранченный в бордовые одежды; прозрачные мухи, червяки, пылинки в стеклянистой жидкости очей моих помогают мне вспоминать: сцепляются они в буквы, а буквы собираются в слова, а слова составляют предложения.

Посторонняя жизнь приходит мне в голову, ее навевают черные ветры Понта, она сыплется в мою иллюзорную душу цветным иллюзорным песком, разноцветными флажками узорит мой ум. Чоки Зангпо велел мне заняться этим, потому что я чертовски защищен на себе: женщина ли, мужчина ли, но я — это я; мои личные воспоминания, дорогие впечатления, выводы о чем-то и приводы куда-то — все это я: ценное, обширное, всеобъемлющее. Я ведь, честно говоря, побаиваюсь потерять себя в Безусловном, к которому мы, буддисты, стремимся. Пускай моя душа — только лишь скопление разновеликих мотыльков, парящих и дуращих, пускай мотыльки эти вовсе и не мотыльки, а просто играющие тени, которые ничто и никто не отбрасывает: они здесь пляшут случайно, устраивают вычурный балет, но солнце вскоре зайдет, и мотыльки исчезнут, — что мне до того? И то сказать: безразлично! Дайте мне вечность шириной с несуществующего Бога, который из ничего создал несуществующий мир! Дайте мне такую нирвану, где будет место стружкам цветных карандашей — тем самым, что настрогала мне мама в маленькую бутылочку! Разноцветные стружки, я зашвырнула их в груды кирпичей — от восторга. А бабушка, став свидетельницей сего вероломства, так грустно сказала: «Зачем же ты ее разбила? Такой красивый подарок тебе мама сделала» — вот для этого — слишком сверхчеловеческого — дайте мне места в вашей нирване, слышите, Зангпо? Такие соблазны одолевают меня, дорогой учитель, но я пытаюсь, пытаюсь их побороть, честное буддийское слово! Хватит ли места всем? Чем цветная стружка Арсения дурнее моей цветной стружки? День-деньской я вспоминаю днесь Марсея, его исключительную жизнь, многогранную, как крест Деникина, и ветренная, засиженная мухами, червивая моя юдоль минорна, как усы Юденича.

18

Мой учитель, когда вы сбежали из оккупированной Лхасы в Америку, то сразу же устроились на фабрику в штате Иллинойс. Уже тогда вас считали великим практиком, и поэтому никто из ваших земляков не удивлялся, что для такого великого человека нашлась подобающая работа. Пока другие тибетцы гнули спины и зарабатывали паховые грыжи, вы только лишь нажимали на кнопку — целый день, целый день, целый день. Это стало для вас медитацией, вы достигли горних высот, войдя в ритм своего труда. Но, устраиваясь на службу, вы не стали разведывать, что именно изготавливают на фабрике. Каково же было ваше удивление, когда вам сказали правду! Учитель, вы тотчас вернули зарплату и воротились в Тибет, узнав, что все это время работали куриным палачом.

Арсений вычитал в трактате, что следует не только не растрчивать, но и прибавлять, вовлекать внутрь плодородные женские соки, а еще поощрять выработку собственных, возбуждаясь без растраты. Но Марсель решил, что пока не готов к этому, и продолжал блюсти обыкновенный целибат, лишь изредка пересматривая кино «Кегельбан с Изаурой» — в полном бесстрастии, словно бы созерцая безмятежное ведро. Плоть притворялась, будто бы мало-помалу покоряется рассудку, но вдруг язвила исподтишка и губила предприятие. Он страдал, срывался, доходил до отчаяния, периоды упадка сменялись временами подъема. И все-таки Марсель был скорее доволен собою, потому что с его сознанием явно что-то делалось: он вдруг стал рисовать болезненные картинки в стиле Ролана Топора и Клоссовски, потом Арсений занялся автоматическим письмом, изучил античную мифологию, сделал себе интимную прическу в растафарианском стиле, освоил сальто-мортале и написал несколько эссе по чайной метафизике. Одно из них, под названием «В поисках чайного логоса:

Аполлон, Дионис, Кибела», он отправил в литературный журнал «Нева». Вскоре ему пришло одобрительное письмо: работа была принята к публикации. Ниже я по памяти привожу это сочинение Марселя, но читатель запросто убедится в моей дружбе с Мнемозиной, открыв седьмой номер «Невы» за 2015 год, — здесь можно прочитать переизданное и дополненное комментариями эссе.

В поисках чайного логоса: Аполлон, Дионис, Кибела

Все знают о чайном опьянении, всем известно, что элитные сорта чая вызывают необычные переживания, но до сих пор никто не проверял их метафизическую подкладку. Чай бывает разный. Суфийские мудрецы видели в этом напитке аллегорию Бога, ведь одни говорят, что чай зеленый, другие — что черный, одни утверждают, что он горячий, другие — что холодный, он может быть жидким, твердым, горьким и сладким — так и Бог: невозможно определить его качества. Оставим философов, спустимся чуть ниже, в область обыкновенной химии, и различим сорта чая по степени ферментации: одно и то же сырье — листья и почки чайного дерева — может в итоге стать и зеленым, и бирюзовым (улун), и красным (черный), и черным чаем (пуэр) — все зависит от способа и времени обработки. Чайный лист — это материя, изначальный субстрат, которому придают форму; и вот, мы пользуемся аристотелевскими терминами, потому что решили выяснить онтологию чая. Начнем с середины и обозначим крайности. В центре онтологической шкалы стоит улун, бирюзовый чай, — здесь материя уже обуздана формой, изначальное сырье побеждено искусством чайных мастеров. Хороший улун навевает «прекрасные сны Аполлона»: усложняется игра ассоциаций, приходят на ум необычные сравнения, яркие образы; некая статуарная легкость обволакивает предметы, само пространство становится прозрачней. «Железная бодхисатва» — это гармонизирующий, аполлонический чай, он отправляет нас напрямик в мир бирюзовых платоновских идей. Совсем иначе действуют зеленые чаи, которые ближе к необработанной материи; они, как Аристотель, парадоксально соединяют материю и форму, в них есть зелень изначального, но тем сильнее выражен антитезис — здесь явлены драматичные отношения материального и идеального, это сам Дионис, который опасно играет с Великой Матерью. Наименьшая обработка, наименьший отрыв от материи, но все же страстный, непримиримый отрыв. Зеленый чай — чай Диониса: он возбуждает, вызывает шквал противоречивых чувств, ощущений, сердце сбивается с ритма — это опасный напиток, он ускоряет обмен веществ, а высшие сорта, такие, как гиокуро (чай гениев), дают ясность ума, но это не аполлоническая ясность — здесь все слишком подвижно, неистово, строчки бегут друг за другом, глядишь — и мысли пустились в пляс, началась беготня, мозговые мурашки парадоксальных идей. Теперь мы делаем прыжок на другую сторону, в предел ферментации, где нас поджидает... начало, Великая Мать — пуэр. Это черное варево, им можно запивать еду (близость к пище — мистический ноктюрн!) без опасений, он славен запахом прелой земли, перегноя, осенних листьев, он согревает, как матка, как жаркие объятия мамки, он уже не трезвит до опьянения, как зеленый чай, — здесь нет гармоничных снов улуну, — но погружает в странное состояние, так что можно трое суток вовсе не спать и чувствовать бодрость. Пуэр проходит настоящую инициацию Кибелы: некоторые сорта этого чая выдерживают в земле, его хранят годами, он только хорошеет со временем (близость Сатурну), потому что в пуэре уже нет противоречий, становления, здесь уже все случилось, в этой предвечной массе. Как известно, Великая Мать близка титанам, которые не знают ничего, кроме нудного повторения и механического труда, так что чай титанов — это чай в пакетиках: массовое производство, однообразие, конвейер утреннего чаепития несчастных рабочих. Не все знают, что черный чай — это пуэр, а большинство людей пьет красный, который в степени ферментации уступает лишь пуэру, — так титаны чуть поднимаются

над тьмой материи, которая и есть Великая Мать. Титаны служат Кибеле, поэтому их чай называют черным, — в этой игре красного и черного есть какой-то колдовской эвфемизм. Зеленый Дионис вырывается из живой материи, добровольно принимающей форму (сушка, ферментация, скручивание), — здесь мы все еще видим ее чувственность, ее внезапные всплески, которых не найдем в бирюзовом аполлонизме улунов, где материал достиг неколебимого покоя; эта изначальная, живая материя («Натура» философов), дружественная форме, есть покрывало Изиды. Последней противостоит Кибела, мертвая, использованная субстанция, не желающая подчиняться олимпийским богам. Поэтому Кибеле не принадлежат растительное и животное царства (здесь правят Изида, Дионис, Пан), ей подвластны руды, недра земли, нефть, бетон, тоталитарные государства. Изида любит танец мотыльков, Тютчева и Мандельштама, а Кибела в восторге от масовых парадов и митингов; Изида любит отдаваться Осирису, а Кибела пытается господствовать над своим Аттисом, запугивает его — это материя, которая внушает форме, что та без нее — ничто.

Это эссе получило широкую огласку, его цитировали, опровергали, комментировали. Известный публицист и демагог А. Д. Коромысло отозвался на него четырехтомником, раздув шутку Марселя до размеров тяжеловесной идеологической махины. Согласно АДК, логос Кибелы давно и безнадежно поработил мир, так что последним героям, рыцарям Диониса, остается только расколошматить ядерной хлопущей загнившую планету. Арсений брезгливо полистал сей талмуд, подивившись его психопатической мощи.

19

Эй, православные хоругвеносцы, оволосившие бородами города новой России, Марсель уже распался на три сотни персон, чтобы прокрасться в спальни ваших похотливых дочурок, не достигших возраста согласия! Он прихватил с собой миллион алых карадагских пионов, чтобы поиграть в Босха с девственными попками отличниц.

«Как, ты говоришь, называется этот галлюциногенный кактус?» — как бы нечаянно полюбопытствовала Лика, когда Марсель склонился над ней в постели. Это было вполне ожидаемо для него — нормальный вопрос, один из тех, что нарочно придуманы, дабы законопачивать ими романтические паузы. Ведь Лика несколько волновалась, а Марсель не на шутку смутился, полностью сознавая необходимость решительных действий, к которым он был готов сугубо теоретически, но никак не въяве, на что указывала махинальная реакция его нервов, последовавшая сразу вслед предыдущим словам Лики: «Можешь лечь со мной, я не кусаюсь», — так сказала девушка, когда Марсель начал было укладываться на постоянно пустующую койку ее общежитской соседки Петручи, толстой и доброй громады: она держала за собой часть комнаты, но в основном жила у родни. Петруча всегда стучалась, прежде чем войти, так что Асур мог беззаботно спать на ее кровати, что и претворял в действительность каждый раз вслед предложению остаться на ночь: он его принимал, но вполне куртуазно засыпал на вежливо предоставленном Петручином ложе. Спать он укладывался прямо в штанах, и даже теперь, уже обнимая девушку, Марсель был наполовину утаен вельветовой тканью брюк — так Ленин в мавзолее сокрыт по пояс, потому что обрублен. Марсель же был целостен и вполне сознавал, что нижняя часть его плотских риз обретаётся прямо-таки в непосредственной близости к сходственной части

женского существа, случившегося рядом. Какова же была его махинальная реакция, когда Лика — несколько безразлично — предложила возлечь с нею и не бояться укусов? Надо сказать, что Арсений почувствовал обиду, огорчение и даже слезы навернулись ему на глаза. Он счел это предложение слишком прямолинейным, он удивился нечуткости Лики, ведь она не должна была манкировать объяснимую возрастом нерешительность Арсения; ведь их сношения длились всего чуть дольше месяца. Испытывая горечь, он возлег с ней, не спуская с губ неискренней улыбки хитрого Гермеса. Их обычная беседа лишь временно была прервана этим пространственным вопросом, этим формальным сближением, но тотчас заструилась дальше. Изъясняясь, Арсений походя гладил пейсы подружки, словно это было регламентировано кодексом постельной совместности, но вдруг Лика прервала его бравату о превосходстве пирожного «Мадлен» внезапным вопросом: «Как, ты говоришь, называется этот галлюциногенный кактус?» Дело в том, что накануне Марс рассказывал Лике о ритуальных практиках индейцев, которые сопровождались вкушением наркотических растений, так что этот вопрос его совсем не удивил и даже обрадовал, потому как стал недурственным поводом для решительных действий.

Надо сказать, что и в будущем, то есть через пару недель после первого сближения, он внезапно преодолел очередной рубеж, удивив Лику познаниями в вопросах телесности. В тот день Марсель взвзовется по покрывалу на балкон общежития с букетом пионов в зубах, и скоро в пестрой комнатке Лики установится постельный режим. В тот день девушке покажется, что друг ее чем-то озабочен, несмотря на недетскую твердость его притязаний.

И в самом деле — Марсель озадачился дилеммой: если он и впрямь любит эту красную девицу, то хорошо ли высасывать из нее силы с помощью известного действия, теперь неизбежного? Справедливо ли это? Этично ли? И не лучше ли без обиняков выдать ей свои убеждения? Сказать без экивоков: любящий любящему — комар. Но его уже несло без спросу, тело шло в самоволку, хотя Марс точно знал куском сознания, что вовремя остановится, вот только побывает кое-где, овладеет сокровищем, возьмет свое, а сам не даст ни капли, сохранит и сбережет, — один раз точно можно, ведь Лика сильная барышня, вон какие у нее мясистые икры, хорошие зубы, ладные уши. Быстро осмелев, Марс пошел в атаку: досконально оголил девушку, облобызал ее перси, лодыжки, крестец и похотник, но Лика пресекала поползновения перстов его и сдерживала уд то нежной дланью, то алыми устами; врата же свои замкнула накрепко. «Что же, — сказал Марсель с придыханием, — не пора ли нам отождествиться друг с другом? Не будет ли ошибкой упустить такой чудный день? Смотри: в окне торчит радуга, и кошка карабкается по ветви, охотясь за птахой».

Лика знала наперед, что нынче Марс готов мужать, но была у нее своя тайна, свой уговор, своя непримиримость: Лика решила до апогея блюсти формальную невинность, до брачного ложа беречь свою женскую перепонку. Что это? Сказались ли старорежимные увещания прабабки, когда в деревне, в Бессоновке, маленькая Лика рассеянно слушала ее старушечьи моралиты: «Смотри, девка, будут к тебе молодцы стучаться, так ты не впускай, не отворяй ворота, не то обрухатят немедля! И будешь ты простоволосая побираться по церквям, с дитятей холодным по миру ходить!»? Впрочем, в свои одиннадцать лет девочка посмеивалась над старушонкой, делая вид, что ничего не понимает. Сказались ли романы девятнадцатого века с их ужасом дефлорации? Может быть, изнасилованный родным дядей одноклассник Лики по имени Тимур, в красках расписавший ужас проникновения, напугал ее? Едва ли. Ей даже стало занятно, ведь тыловой вариант, черный ход Эрота как бы снимал проблему: девство соблюдено, иллюзия сохранена — чего еще надо? Потом, уже в университете, она узнала, что многие широкобедрые арабки

так и поступают, но Лика стеснялась просить свою подругу-любовницу, с которой они лишь лобызались и быстро мыли друг друга в душе, чтобы та овладела ею таким способом. Без сомнений, Вера бы поняла ее пристежной намек, брошенный в сторону интимного магазина, где продавались эти неказистые огурцы на ремне, но стоит ли практиковать подобное с нелюбимой девушкой, думала Лика, ведь чувствовала, что сея связь — чадо неизбежности, ребенок отсутствия милого самца. И вот кандидатура сыскалась: дитя-Гермес, мальчик-амур с подходящей, негрубой стрелой, лишь слегка оперенной. Всего Лика не отдаст, решила, поиграет лучше в арабку, побудет хлопцем. «Марс, ты не против, если мы до поры до времени побалуемся тем, за что некогда сжигали на кострах? — шепнула Лика, выпустив на миг из сладостной темницы рта Арсениеву сигару страсти; чуть помолчав, прибавила: — Да, да! Сделай со мной то, от чего у певицы садится голос!» Он тотчас осмыслил предложение, рассмотрев окрест, в общем-то, знакомую картину — сад земных наслаждений. Марсель взглянул на коленно-локтевую Лику, на ее спущенные оранжевые трусики, растянутые между расставленных лодыжек, на бесстыдно роскошные бордовые пионы, на размягченное сливочное масло, оставшееся с обеда, обмозгованного загодя предусмотрительной Ликой, и, хмыкнув, принял. Через четыре четверти часа он прекратил бурить ее тесную шахту, дабы, чего доброго, не случилась обильная нечаянность, и поспешил встать на голову среди комнаты, чтобы слить приток сил к макушке.

Из вышеприведенных эпизодов следует, что Марс решительно отвечал на вставившие перед ним вопросы. Что интересно: каждый раз в деле косвенно участвовали растения, будь то кактусы или пионы; последние напомнили Арсу Карадаг и приключения детства, в которых была замешана его троюродная сестра Нина, теперь вышедшая замуж за испанца и укатившая насовсем в соответственную страну. Эти пионы указали ему путь и метод; кактусы же стали всего только предлогом для действий, ведь Лика своим вопросом явно вручала ему инициативу и давала добро, разрешала ему все и поощряла его, санкционировала и позволяла. «Как, ты говоришь, называется этот галлюциногенный кактус?» — как бы нечаянно любопытствовала Гликерия, выжидающе глядя на Марселя, когда тот склонился над ней в постели. «Лофофора Уильямса», — ответил Марс и, смахнув с ее лица сбившийся на сторону пейс, впервые поцеловал свою подружку. Аплодисменты!

20

И жили они быстро и счастливо, и не померли в один день с читателем, который застрелился-таки, смастерив пистолет. И мама прибежала домой с вытаращенными глазами, тряпкой и ведром, потому что подвязалась вымывать с дивана читательские мозги. И долго еще стоял этот зеленый раскладной диван во дворе возле мусорных баков, красуясь родимым пятном в форме несуществующего континента.

Справедливость, согласие, бескорыстие — совершенная любовь! Никто ничего не отнял: в страсти блюлось энергосбережение. Гликерия лишь скапливала живительную сырость заповедного грота, Марсель не терял волшебной амбры — все дивно. Правда, в первый раз девушка недоуменно взглянула на него, не дождавшись кульминации, салюта. «А где же гейзер?» — спросила Гликерия. «А гейзера не будет. Я жадный оккультист-крохобор!!» — ответил Марсий. Он решил, что это и есть горная свадьба, истая чистота и непорочность. «Ты моя сестра в белых одеждах», — заявил Марс, ловко перевертываясь с головы на ноги. «Ты мой back door man», — вторила Лика, завязывая шнурки на ботфортах. У нее были мощные стегна, мышцы на подтянутом

животе, крохотная грудь ее не знала уз бюстгальтера, зато болтались пейсы на висках, зато полосатые гольфы обтягивали безупречные ноги, зато красная водолазка Лики, хулиганская подмена вечернего платья, форсила прекрасной жизнью.

Все, Марсель был повержен тем древним демоном, что некогда заставлял панцирных рыцарей стелиться по земле перед подолом, рассыпаться бутонами и балладами. Как все, он чувствовал себя тлей возле божества; стоило малость усомниться в его величии, как тотчас на глаза наворачивались слезы и рука тянулась к вервию смерти. Она знала все: что красный лучше зеленого, что кофе лучше чая (он принял даже это, смирился, хотя, признав себя еретиком, продолжал греховно чаевничать), что лучшие благовония — арбузные, а вовсе не те, которые привозил Цзэсюй, — их Лика с негодованием отвергла: фу! Свежим арбузом, полосатой веселостью, лишь снаружи зеленой, но красной внутри, пахла ее комната в общежитии, пахла она сама, пахло ее белье, а на вкуч Лика была как черноплодная рябина.

В кукурузных полях они занимались чем-то похожим на любовь, но более вычурным. Дорога поднималась вверх и опускалась вниз, безответно снося похождения путников, поползновения гусениц и круговерть колес. Дорога — что ее проймет? Иной раз, соскучившись, она сбрасывала в кювет автобус или грузовик, чтобы послушать вопли. Ее кожа плавилась на солнце — благовонный асфальт; правила движения не были ее религией, но она сносила соседство икон, торчавших вдоль ее спины, — к ним обращали взор автолюбители, запрещаясь и предупреждаясь, внемля и преступая. Водители снижали скорость, повышали голос, подбирали беспутных женщин и путных странников, курили и кашляли, перевозили груз, снимали усталость порошковым кофе, платили бандитам, бывали застрелены, зарезаны, избиты, удовлетворены, сыты; волосы иных дальнбойщиков были подстрижены коротко, у некоторых имелись дети, жены, матери, ожоги, шрамы, лишние пуговицы на рукавах, грыжи и заначки. Марсель рассказывал водителям китайские анекдоты, давал рецепты блюд, удивлял настойкой на сколопендре, припасенной для похода. Дорожная сумка Марселя содержала трактат, запасные трусики Лики, пакетик состаренного улуна, крема и расческу — ее Арсений использовать никак не мог, ибо постирился наголо. Зато использовал Гликерию среди волосатых кукурузных початков.

Автору придется расклеить объявления, чтобы найти читателя, который хоть раз видел кукурузное поле, — это первое условие; пускай только на картинке, на экране или во сне: желтое и обширное, шуршащее грубой листвой; еще читатель не должен быть пигмеем. Бог его знает: вдруг этот черный коротышка соорудит из початков идолище, эдакую священную кучу и станет поклоняться ей, плясать вокруг и колобродить, гукать и сипеть? Вдруг он сошьет себе шапочку из кукурузных волос, пахнущих детством? Пускай не пигмей, кто тогда? Тот, кто способен понять мой замысел и оправдать его, а именно: я не вполне доволен своим кукурузным полем, потому что здесь растут стеклянные початки, — ни ветерка, ни шороха, только юные любовники алчно сопрягаются в мертвенной тишине; поэтому я должен заразить свое поле червями, тлей и коростой, наводнить его и поджечь. Поступив так, я скажу, что это хорошо весьма, и лишь отребья дерзнут меня осудить: они предпочтут неподвижную протяженность без всякого изъяна, без гнилых листьев и прожорливых гусениц, но я прокляну их! Ибо Я емь не только создатель, но и губитель, Я пребываю в гниении, в росте, в горечи, в зное и лютой беде, Я даю жизнь семенам и Я же проклиная землю; Я суть противоречие в противоречащем Мне и тяжесть его раскаяния; Я великая засуха и плодоносный дождь.

Они попали в Бессоновку на грузовике, полном арбузов и грозового дождя: ливень ахнул под колеса, когда они проезжали исполинское перекрестье серпа и молота, торчавшее на обочине. Лика бессознательно любила павший Союз, потому что тот

был удивительно красным, и придорожный герб ей тоже нравился. Мать Гликерии, женщина с надкушенным языком и стертými каблуками, привечала тортом и вином, она дивилась юности Марселя, никак не прекословя сумасбродной дочери, но вечером постелила им врозь, так что Марселю пришлось засыпать в одиноком холодке. В ту ночь он вполне осознал, как привязался к своей девушке с пейсами.

Через несколько дней они были в Крыму. Добрый и благодетельный, словно приверженец буддийской школы ньингма, гуингнм Кузя встретил их на вокзале Симферополя и повез в Планерное, где дельтапланеристы норовят взять небо штурмом, а писатели заваривают гусениц вместо чая.

* * *

Однажды, когда они бегали по холмам над морем, Нина сорвала маковую коробочку и высыпала на ладонь семена.

— Якщо наїсися ними, то заснеш, — сказала сестра.

— Давай попробуем! — обрадовался Марсель.

Дети наелись маковых семян и упали возле могилы поэта, притворяясь сонными. Солнце рушилось в Аксинский Понт¹, на другой стороне бухты скалистый Волошин грустил над спокойной волной, а Марсель все рассматривал обнаженную Нину, лежавшую ничком возле могильной плиты.

Теперь, спустя годы, на том же месте он разглядывал другую: Лика, вытянув слегка раздвинутые ноги, выгнулась двухвостой коброй и запрокинула голову; под губой поблескивал шип, мокрые и соленые пейсы ниспали на рамена, чуть ниже розовела незагорелая область, а еще ниже гусеница пересекала мыс лодыжки, стремясь к смятой маковке, одним лепестком приставшей к пятке. Лика изогнулась еще больше и с улыбкой взглянула на опрокинутого Арсения, сидевшего позади. Потом она вскочила на ноги, сложилась пополам и прижала голову к коленям, обхватив руками икры; гусеница отлетела в сторону и кочевряжилась с испугу. Через минуту Лика стояла на лопатках и тянула «березку» в облака: ее некрупные ступни с детскими пальчиками упирались в небо, а подбородок прижался к груди, так что губная иголка слегка царапала кожу. Вполне изучив перевертыш, Марсель укусил его за мизинец, возбуждив этим сдавленный смех; затем он развел в стороны ее, оказавшиеся наверху, нижние конечности и посмотрел между.

1. Ее сухожилия и связки хорошо растягивались, кишечник пустовал, напрягались и расслаблялись мышцы, зрение видело цвета и различало объемы, обоняние обоняло волнующие запахи Крымской Татарии.
2. Взглянув на Марса, Лика тотчас опознала его границы, очертания тела, контур, ей незачем было лишний раз удостоверяться в том, что Марсель имеет протяженность, обладает цветом, что Арсений непрозрачен и может двигаться.
3. Марсель нравился ей: мимика, движения, пропорции тела, голос — Лика хотела иметь это при себе постоянно и как можно ближе, то есть обладать этим безраздельно, ни с кем не делясь.
4. Когда Марсель отвернулся, заметив бумажный самолетик, Лика почувствовала легкое раздражение, потому что он перестал смотреть на нее, предпочтя другое подвижное тело. Она ревновала к самолетику.
5. Осознав это, Лика посмеялась над собой, и неприятное чувство прошло.

Не меньше часа они любили на могиле Волошина, немедля искупая этот грех страстной декламацией его стихотворений. После длительных зрящих упражнений неудовлетворенный Марсений, постояв на голове минут десять, стал читать

¹ Солнце в тех краях садится вовсе не в море. (Прим. Чоки Зангло)

«Коктебель таймс»: газетный лист прилетел самолетиком, его как бы надуло снизу, с планерного Коктебеля, да такая чудная статейка была в той бумаге, что Марсель даже зачитал ее вслух, пока Лика надевала исподнее:

Сегодня в пресс-службе администрации окрестностей Коктебеля сообщили, что так называемое дело цветов закрыто и обжалованию не подлежит. Напомним, что двадцатого Флореаля в администрацию поступило ходатайство, подписанное главами цветочного комитета, в котором официальные представители цветов выступили с требованием пересадить молодые тюльпаны, выросшие на дороге и тем самым обреченные на скорую гибель. Представители консервативного крыла цветочного парламента, находящиеся в оппозиции к действующей цветочной власти, не поддержали ходатайства и отказались его подписывать. Консерваторы считают, что пересадка всех цветов на безопасную землю не представляется возможной, отдельные же прецеденты вызовут лишь зависть среди цветов отдаленных земель, что может спровоцировать бунт, а если молодое поколение откажется цвести, то недалеко и до межвидовых столкновений, которыми тотчас воспользуются враги-паразиты. Независимый эксперт Мак Тюльпанов считает, что решение администрации окрестностей свидетельствует о ее лояльности консервативной партии цветов.

1. Артериальное давление Лики не могло вызвать нареканий, зато нерадивый пульс чуточку замедлился — до пятидесяти ударов в минуту; температура тела соблюдала приличия, не поднимаясь и не опускаясь без толку; в помине не было излишней потливости; волосы росли достаточно шустро.
2. Лика заметила растение, непохожее на другие формой и оттенком, — это был крупный розовый цветок.
3. Он понравился ей, растение показалось Лике очень приятным телом, она почувствовала, что цветок радуется ей.
4. Она захотела сорвать его, чтобы стать его неограниченным владельцем.
5. Но передумала, вспомнив, что нехорошо срывать цветы в заповеднике.

Они забрели в Карадаг, в царство черной богини Гекаты, повелительницы собак, перекрестков и магии. Почему Лика, пожелав себе этот цветок, этот карадагский пион, и впрямь редкое растение, в других местах не растущее, отказалась от него? Благодаря ли воспитанию? Благодаря ли генам? Благодаря ли дяде Гене, ботанику, который всю жизнь славословил бесподобную Флору? Благодаря ли прочитанным книгам и саморазвитию? Может быть, сказывалось благотворное влияние гимнастических упражнений? Ведь ее так привлек этот цветок, ведь Лика была уверена, что он пахнет особенно приятно. Сотни других прихожан Карадага рвали здесь цветы и бросали бутылки, несмотря на то что их кровеносные системы зачастую работали отлично; бывало, что некоторые прихожане потели, но далеко не все, одни из них были верующими, а другие помогали бездомным животным, третьи защищали честь женщин, четвертые оплакивали любовные романы, но каждый из них сорвал, по меньшей мере, десять цветов. Даже интеллигенты, даже некая поклонница Каstellуччи, Кнопфа и Джачинто Шельси, она тоже сорвала одиннадцать пионов, хотя понимала, что идет на преступление, но позволила себе то, что сама же запрещала другим (между прочим, пьяный дембель А. Савищенко мыслит примерно в том же духе, когда бросал здесь пивные бутылки). Лика же преодолела себя, воздержалась, зная, что рвать цветы в заповеднике — преступление. А если бы Марсель тяжело заболел и слег? Если бы его давление подскочило, температура бы поднялась, если бы пот катился градом по спине, по лицу и по груди, если бы живот его вздулся, если бы его стало тошнить, затем рвать, если бы у него началась диарея,

а цветочницы бы, как назло, ушли в загул и разврат, стали бы устраивать стачки, бросив торговлю... принесла бы она Марселью хоть один крохотный букетик? Да, но лишь один и крохотный, взгромождая на душу тяжкий грех.

Поэтому когда Марсель захотел поиграть с ней в «Сад земных наслаждений», доходчиво растолковав суть этой затеи, Лика с негодованием отвергла предложение. «Марсель, — возмутилась Лика, — как тебе не стыдно рвать живые растения, да еще в заповеднике, когда можно взять искусственные на городском кладбище и забавляться с ними как душе угодно?»

21

Когда закончилось лето, когда Крымская Татария осталась позади, когда Воронеж — уронишь ты меня или проворонишь — распахнул черноземные двери, тогда пришла пора ночной жизни: расцвеченной фонариками, лыжно-смазливой, сиропной и дымно-сладкой. Но Марсель не хотел туда возвращаться, потому что с новыми силами бросился изучать книги по тайным практикам, читать вредные романы Бальзака и философию. *Ему было всего шестнадцать, но у него имелись трактат и женщина.* К новому книжному бытию Арсений никак не мог приспособить мир прокуренных танцулек: ему просто-напросто было уже неинтересно обретаться среди светских прожигателей чего-то там, что называют жизнью, он стал дорожить своим временем, которое большей частью отдавал чтению, гимнастике и созерцанию комнатных растений. *В свои шестнадцать он владел женщиной и трактатом, пузырьками его мозга можно было отравить сотню трезвенников, превратить их в неистовых корибантов.* Лика же не собиралась отказываться от неоновой и стробоскопической судьбы и недоумевала, когда Марсель принимался отговаривать ее от похода в ночной клуб на очередной концерт Заратустрицы — модного диск-жокея: он теперь гастролировал по всему свету, посещал Амстердам, Ибицу и сотрясал мыс Казантип гибридными созвучиями, в которых все меньше было Губайдулиной, Чаргейшвилли, Берга и все больше бристоульского саунда. Со временем Арсений стал отпускать Лику с ее подружкой Верой, ничуть не опасаясь, хотя был осведомлен насчет их минувшей связи, но Вера давным-давно подыскала себе ревнивую и мужественную любовницу, мастерицу спорта по греко-римской борьбе.

Марсель стал чаще появляться дома и все реже оставался ночевать в общежитии, потому что в Ликиной постели его подстерегала обильная нечаянность: рано или поздно это совершалось, плотина рушилась, и тогда Марсель делался мрачным и злым, свирепым и лютым, ведь женщина не только ничего не давала ему (ее энергия оставалась при ней, сокрытая девственной перепонкой), но даже отбирала. Он обвинял Лику в растратах, в разбазариваниях и даже в растраниживаниях и давал понять ей, что она мешает его духовному росту. В ответ Лика билась в истерике, ударяясь челом об пол, корчась и конвульсируя. В таких случаях Асуру становилось жутко, он сознавал вдруг, что далеко зашел неторной, опасною стежкой, а дальше — мгла неизвестности, потому что нормальной жизнью здесь и не пахло. Зато садило арбузными благовониями, из соседней комнаты несло арабским гашишем, а красные волосы Лики благоухали заморскими странами, Третьей Индией пресвитера Иоанна.

Не быть ли понастойчивей? Не быть ли мне настойчивей, не быть ли мне понастойчивей? Не стать ли мне решительным? Не стать ли мне порешительней, не стать ли мне понастойчивей, не быть ли мне порешительней, не порешить ли мне? Не решиться ли мне? Не отрешиться ли мне? Не обрешиться ли? Не подшиться

ли? Не оскотиться ли? Два года без малого обмозговывал Марсель эти вопросы, изводя, услаждая, холя, нежа, гробя Лику в кукурузных полях, в комнатах, в огородах, в палисадах, в теплицах, в кустах, в чуланах, в парках, в садах, во дворах, дома и в гостях. Тем временем от удара скончался Машмет, а Чирик — от передозировки. Ни мама, ни конь в пальто, ни бабка Моториха, ни человек по имени Динозавр — никто так и не сходил на могилку к Машмету, не принес ни цветочка, ни грибочка, поэтому душа его долго еще металась в чистилище бензиновых зажигалок, декламируя Пруста сломанным пылесосам и другим обитателям тех скорбных мест. А несколько выше (минуем земляные слои), где одна из бесчисленных звезд освещает пространство, птахи парили над Ликой и Марселем, если не дельтапланеристы, если не мыши, если не газетные самолетики, если не кораблики в облаках, то гусеница на земле, если не медведка под землей, если не корова в поле, то трактор в море. Но так или не так, сяк или не сяк, эдак либо не эдак, а все же не по-людски, а вычурно, если не сказать — обидно. Поэтому Лика все чаще корчилась на полу, разметав пейсы, поэтому Арсеней все чаще замирал в недвижности, созерцая секундную стрелку, если не белку в щазе. А потом они веселились в дыму арбузных благовоний, Лика писала его портреты маслом, но не сливочным, а красочным, рисовала пионы. Они ели кофе, пили кунжутную халву, говорили о красном, о полосатом и ни разу не помянули по русскому обычаю Машмета, то есть пряником, конфетой или подгнившим яблочком, с которого надо еще срезать коричневый бок, чтобы съесть в кладбищенской тиши. А еще лучше, когда наступит праздник Пасхи, отведать красное яйцо на погосте и выпить рюмку водки да покурить за покойника. Хорошо бы еще подмести подле оградки, посадить плющ, если не гонобобель, заменить погребальный веночек — ох уж эти пластмассовые лилии, ох уж эта пластиковая хвоя! А гуси-лебеди из автомобильных шин? — выйди с кладбища, пройдишь по горемычной стране, взглядишь в эти бесхитростные лица, потрогай эти мозолистые руки с толстыми пальцами: эти ладони мастерят лебедей из автомобильных покрышек и декорируют ими улочки деревень, эти руки откупоривают бутылки, работают, бьют женщин, замещают их, а потом гниют. Марсель, не ходи на кладбище, где прах Машмета осквернен соседством черни, лучше выпей еще этого желтого чая, напейся Мэн Дин Хуан Я и лети в упряжке шинных лебедей за тридцать земель, прочь отсюда. Длятся дни, тротуары нагреваются солнцем под подошвами твоих ботинок. Ты можешь пойти в любую сторону, не думая о последствиях. Кругом небывалая разруха — таковы обстоятельства твоего уже не детства, но ты крепок и свеж, потому что тебе шестнадцать, потому что ты знаешь цену своим дням, ты ненасытен, ты ешь снег горстями, ты горд. Марсель, у тебя есть женщина и трактат, твой мозг — изошренный тунейдец, его пузырями легко отравить стадо трезвенников, сделать из них корибантов. У тебя есть женщина в твои семнадцать, есть трактат, твой мозг — что за диво таится в его мозжечке? Какая душа там спряталась? Свет ли разума или темная небылица? Китайский чулан с разноцветными пытками. Марсель, тебе всего пятнадцать, но у тебя есть женщина, трактат подскажет тебе, что с нею делать. У тебя есть газета «Коктебель таймс», в ней сообщают, что десятого сентября в городе было официально зарегистрировано 130 804 миллиарда осенних паутинок. Из них всего две тысячи попали в глаза прохожим. Эти цифры приводятся по результатам статистического исследования. В ночь на четырнадцатое сентября в тупике имени Л. Клагеса одна паутинка, не справившись с управлением, залетела в водосток дома № 3. Вскоре к месту происшествия прибыла оперативная группа спасателей. Паутинку выдули с помощью сильной струи воздуха. Согласно официальным источникам, паутинка не пострадала и тотчас после завершения спасательной операции возобновила полет. И тебе плевать на правила, потому что ты

заранее все нарушил, ты числишься в особых списках. Твой мозг — ему только семнадцать, но у него есть женщина, есть трактат, есть небывалая разруха. Ты можешь пойти в любую сторону, свернуть, куда захочешь, ты можешь просто крутиться на каблуках, ведь тебе все простят, потому что ты слишком мало прожил. Ты сделаешь со своей женщиной что-то особенное. А потом вы наедитесь допьяна серым снегом этого города, как царской тюрей, и полетите в упряжке шинных лебедей. Не быть ли понастойчивей? Не быть ли мне настойчивей, не быть ли мне понастойчивей? Не стать ли мне решительным? Не стать ли мне порешительней, не стать ли мне понастойчивей, не быть ли мне порешительней, не порешить ли мне? Не решиться ли мне? Не отрешиться ли мне? Не обрешиться ли? Не подшиться ли? Не оскопиться ли? Марсель, у тебя есть женщина, толпа корибантов подскажет тебе, что с нею делать.

22

— Ты только о себе думаешь, хочешь, чтобы все было только по-твоему, — сказала как-то раз Гликерия. — Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя...

В обществе он и в самом деле чаще всего держался отчужденно, недобрый наблюдателем, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброежелательности, резко обострявшей его впечатлительность, зоркость, пронизательность насчет всяких людских недостатков. Зато как хотел он близости с ней и как страдал, не достигая ее!

Он часто читал ей вслух.

— Послушай, это изумительно! — восклицал Марс. — «Когда высыхает река, пустеет долина. Когда срывают холмы, заполняются пропасти».

Но Гликерия изумления не испытывала:

— Да, это очень хорошо, — говорила она, уютно лежа на кровати, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. — Но почему «когда срывают холмы, заполняются пропасти»? Снова китайцы? У них слишком много описаний природы.

Арсений негодовал: описаний! — и пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Лица смеялась:

— Это только пауки, миленький, так живут!

Марсель читал:

Пустота и покой, отсутствие образов и деяний — вот основа Неба и Земли, предел Пути и его жизненных свойств. Посему царственные предки и истинные мудрецы пребывают в покое. Будучи покойными, они пусты. Будучи пустыми, они наполнены. Будучи наполненными, они держатся безупречно. Будучи пустыми, они покойны, в покое они движутся, в движении обретают непреходящее. Будучи покойными, они предавались недеянию, а тот, кто не действует, целомудрен, а тот, кто хранит целомудрие, избегнет забот и несчастий и будет жить долго.

Лица спрашивала:

— Какие еще царственные предки?

23

Текст низверг диктатуру книги, слова свергли диктатуру текста, буквы свергли диктатуру слов, пробелы свергли диктатуру букв.

Удар нанесли внезапно, Марсель был поражен: мог ли он представить, что кто-то сумеет подобрать ключ к заповедной двери, что некто проявит лучшую сметку, большую сметливость, прыть? Она призналась как-то раз, в невеселую пятницу, когда они ели тыквенный суп с куркумой, в котором зачем-то плавал тмин (зира, зэра, римский тмин, кмин, кмин тминовый, кумин, каммун), что неприкосновенное захвачено. Это случилось чуть ли не в подъезде, но было, по словам Гликерии, восхитительно. Артур подстелил картонки. Артур? Какой еще Артур? Не Шопенгауэр ли, с которым Арсений вот уже месяц изменял Лике? Он любил Шопенгауэра больше, чем свою девушку, уделял ему больше внимания. Шопенгауэр подтвердил правоту китайцев: надо умять, усыхать, остывать, замедляться, созерцать. Он сделал все правильно — так, как она много раз представляла, этот Артур Нешопенгауэр. Он был хорош. Умел. Смел. Они познакомились в клубе, Устрица знает его, они друзья. Арсений не поперхнулся супом, он все доел, потому что события жизни никак на пищеварение не влияют — смело наедайтесь салатами на похоронах, не стыдитесь жевать на поминках, уплетайте на сорокоднев. Арсений доел суп, на это его хватило, но затем уже не мог найти предлога для действий, он глядел в пустую тарелку с охровой лужицей на дне.

Неподвижность (*largo assai*)

Если бы он решил встать, то столкнулся бы с рядом законов — непреложных, местных и повсеместных: если шагнуть с высоты вниз — разобьешься, если ударить — будет звук; не все двери следует отворять, не до всего можно дотрагиваться; одно помещение используют для еды, другое — для отходов, а третье бросили, в нем живут ласточки, существа летающие; если бы он решил подняться, встать и пойти в мир, то сразу бы заметил, что все хорошо продумано: вода не проходит сквозь кожу, улыбка не соскальзывает с лица на пол, но растворяется в серьезности, а серьезность — в грусти; собака лает на чужака, облака бывают интересной формы, деревья заняты шелестом, а женщины мажут себя кремом: для рук, словно им не разлагаться в земле, для ног, словно им не ходить на могилы к любимым, для лица, словно ему не быть обрызганным мужским семенем.

Арс мог бы встать, но не находил для этого поступка никаких оснований. Гликерия отодвинулась в пустоту, комната общежития преобразилась в темный склеп, лишь стол светился собственным светом, опустевшая скатерть не имела ни единой складки. Марсель нащупал в кармане свою гадательную монетку, ведь с недавних пор он увлекся китайской «Книгой Перемен» и частенько гадал по ней, напившись крепкого Е шена — это Линь Цзеской привез книгу и научил Арса ворожке. Простой рубль с Белым домом вместо орла — эту деньгу Марс предпочел монеткам с квадратными дырочками, по каким обычно гадают китайцы, но рубль казался Марселю священной, потому что его дали на сдачу с того самого букета пионов, что стал свидетелем их первой близости. Марсель сохранил его, этот рубль, а цветы засушил, чтобы когда-нибудь заварить вместо чая. Вот и теперь он решил спросить китайцев, что же ему делать: карманная «И Цзин» была при нем, так что Арс мог прочитать толкование к любой из шестидесяти четырех гексаграмм. Вынув рубль из кармана, Марсель увидел, что тот перепачкан чернилами: потек стержень шариковой ручки — вот как сейчас у меня, зуб даю! Весь карман затопило синим. Он вымазал пальцы, но Марселю было плевать на это. Прямо на скатерти, уже захватанной кое-где чернильными пальцами, Арсений решил чертить линии. Решка — ян, орел — инь. Подбрасываем рубль трижды: если два или три раза выпадает решка, чертим янскую линию «—», если дважды или трижды выпадает орел, рисуем иньскую «--». Таким

образом, чтобы начертить полную гексаграмму, шесть линий, надо подбросить монетку восемнадцать раз. Восемь из восемнадцати раз монета падала ребром, катилась к пропасти, но замирала дурехой на краю стола. Остальные разы выпадал Белый дом, то есть орел. Все гадание насмарку — Марсель раздосадовался. Но потом заметил, что ребро рубля, перепачканное, оставляет на скатерти следы, похожие на восклицательные знаки либо на иньскую, прерывистую черту. Сей гадательный кульбит озадачил Марсея: можно ли считать случай ребра иньским, если на скатерти отпечатались что-то похожее на иньскую линию? Марсель вообще ничего не знал о ребре написано в Библии: из него была создана Ева.

Сидя он дождался зари, потом направился в библиотеку, чтобы всесторонне изучить вопрос ребра.

Штудирюя вдохновенные статьи китаистов, Арсений выяснил, что древние вообще не подбрасывали монетки, но гадали по стеблю тысячелистника. В каком-то заскорюзлом тамбовском ежемесячнике нашлась работа, посвященная если не ребру, то хотя бы восклицательным знакам. Я бы не решился воспроизвести эту статью по памяти, не будь я выдающимся мастером мнемотехники.

В. А. Зуев

Оккультная пунктуация В. И. Ленина. Восклицательные истоки нижней бездны

Не один, не три, но именно два восклицательных знака любил вколачивать Ильич в концы предложений, огораживая такие сочинения, как «Государство и революция», пунктуационным частоколом. Отбросив психоаналитические, лингвистические, историко-культурологические и другие профанные способы интерпретации этого факта, прибегнем к сакральной герменевтике.

«Все, что приближается к сущности, раздваивается», — утверждал Парвулеско.

Но приближался ли к сущности Ленин? Что такое сущность? Это очень сложная философская проблема. Каждая вещь, будь то предмет или природное существо, состоит из двух нераздельных, взаимообусловленных принципов: материи и формы. Мы не будем касаться сейчас причин, энергий и потенциалов, мы также оставим в покое аристотелевскую энтелехию и все его категории. Нас интересует материя и форма — два онтологических начала. На этих двух принципах строится гилеморфизм (от гиле (ἵλη) — «материя» и морфе (μορφή) — «форма») — парадигмальное учение средневековой метафизики. Материя — это пассивное, женское, рабское, зависимое начало, которое все время стремится к регрессу, к высвобождению, но и хочет быть подчиненным. Такой парадокс ей свойствен. Я думаю, что вполне допустимо применять подобный психологический анализ онтологических начал. Поэтому мы продолжим: материя бунтует, распадается, но предрасположена к оформлению. К примеру, стол: он постепенно расшатывается и в конце концов обрушивается под чьим-то весом. Тогда стол превращается в бесформенную массу, и это уже не стол, а какая-то куча материи, чреватая быть столом. Придет плотник и внедрит в нее форму — тогда и стол вновь станет бытийствовать. Надо заметить, что материя никогда не бывает полностью бесформенной: если стол перемолоть в щепки, все равно это будет какая-то ограниченная некими параметрами куча щепок. Первая материя не дана в чувственном опыте. Но и плотник без соответствующего материала будет метаться со своей идеей стола, не находя ей применения. Таким образом, для бытия вещи незаменимы материя и форма. Теперь неплохо бы применить это к политике. Для Аристотеля государство является такой же вещью, как стол. Если у этого стола-государства не расшатаны ножки, то, значит, установлена монархия или аристократия. Демократия, по Аристотелю, это когда ножки валяются в стороне и все жрут на

полу, на оставшейся доске. Что делает Ленин, когда хочет устранить государство? Всматривается в простую бессловесную материю, которой является народ по отношению к вещи-государству (как утверждает Аристотель, народ есть сырое дерево, а государство — это тот самый стол), — всматривается и хочет «освободить» его от любого формирующего начала. Что на это скажет сам Ильич? Он ведь читал Стагирита, и даже сохранились его комментарии к «Метафизике»: «Схоластика и поповщина взяли мертвое у Аристотеля, а не живое: запросы, искания, лабиринт, заплутался человек...»

Вот что решил Владимир Ильич Ленин. Аристотель ему понравился, но без схоластической «поповщины». Хороший был человек, с Платоном спорил, но запутался в собственных построениях:

Прехарактерна и глубоко интересна (в начале «Метафизики») полемика с Платоном и «недоуменные», прелестные по наивности, вопросы насчет чепухи идеализма. И все это при самой беспомощной путанице вокруг основного понятия и отдельного.

Так, походя, Ленин решил главную проблему в истории философии. А потом и вовсе возрадовался Ильич, штудирюя учителя Александра Македонского:

Прелестно! Нет сомнений в реальности внешнего мира. Путается человек именно в диалектике общего и отдельного, понятия и ощущения etc., сущности и явления etc...

Для Аристотеля такие персонажи, как Ленин, стремящиеся к наибольшей демократизации, всего-навсего предшественники тирании, потому что, как по Платону, так и по Аристотелю, тиранические режимы являются следующей стадией деградации после крайней демократии. Но не будем забывать, что Ильич тем временем все смотрит в бездну первой материи... в непостижимую бездну изначального хаоса. Стол разломан, все жрут на полу и радуются, что жизнь стала такой необычной, свободной.

Abysus abyssum invocat, бездна вызывает к бездне. С одной стороны — народ, древесина, строительный лес; а с другой стороны — творческое начало, демиург, Первочеловек из герметического текста «Поймандр»:

Природа улыбнулась от любви, узрев отражение благолепия Человека в воде и его тень на земле. И он, увидев в Природе изображение, похожее на него самого, — а это было его собственное отражение в воде, воспылал к ней любовью и возжелал поселиться здесь.

С тех пор всегда происходит одно и то же как на личном, так и на политическом уровне — просто череда грехопадений, обманчивых иллюзий. Ленин взирает в нижние воды, а народ заключает своего возлюбленного в объятия. И все рушится, всему наступает конец, пресловутые матросы отколупывают лепнину со стен барочных зданий. Просто от злобы — чтобы не было красиво, чтобы все стало ближе к земле, к алой глине творения. Нам неизвестно, чем закончится этот великий трагический космогенез, но каждый, кто вообще что-то способен знать, знает одно: все действительно важно начинается с грехопадения. Дионис видит свое отражение в зеркале, и в эту минуту титаны разрывают его на части. Есть точка невозврата, надкушенное яблоко, змий, распятый на кресте, сумрачный лес. После этого страшного опыта весь мир остается позади, неважно, Ленин ты или Аристотель, созидашь или разрушаешь, — все равно это уже другой уровень войны, теперь все серьезно. У тебя может обнаружиться золотое бедро, как у Пифагора, или, как у жреца Реи, Эпименида, бычье копыто с едой. Должно быть, и Ленин обладал множеством подобных предметов силы. Пока что мы обнаружили только одну сакральную девиацию, затаившуюся в самих текстах Владимира Ильича Ленина, — это удвоенный восклицательный знак.

Восклицательный знак на самом деле представляет собой не что иное, как женскую (прерванную) черту гексаграммы «И Цзин». Соответственно, каждые шесть восклицательных знаков в сочинениях Ильича являют собой гексаграмму «кунь» — «исполнение».

Посмотрим, что отвечает «Книга Перемен» на двоичные восклицания Ленина. При этом мы не будем брать в расчет одиночные восклицательные знаки, так как они не были спровоцированы демоническим агентом. Только двоичное восклицание, равное заиканию жреца во время чтения ритуальной молитвы (со всеми вытекающими последствиями), действительно имеет значение, свидетельствует о явной аберрации астральных токов.

В издании 1979 года работы «Государство и революция» впервые встречаем сакральный аффект двойного восклицания на странице 46:

Министры и парламентарии по профессии, изменники пролетариату и «деляческие» социалисты наших дней предоставили критику парламентаризма всецело анархистам и на этом удивительно-разумном основании объявили всякую критику парламентаризма «анархизмом»!!

Итак, у нас имеются две черты гексаграммы «И Цзин». Обратимся к древнему каноническому комментарию (1046—770 гг. до н. э.) первых черт гексаграммы «кунь»: «Выпавший иней может сразу же растаять под действием тепла, но он уже предвестник будущих морозов, когда появится крепкий лед и силы тьмы и холода проявятся в полной мере. Благородному человеку достаточно лишь намек, чтобы понять, как ситуация будет развиваться в дальнейшем».

Силы тьмы и холода... уже выпал первый иней, но кто мог знать тогда, в 1917-м, о «будущих морозах»? Разве что Александр Блок?..

Как часто плачем — вы и я —
Над жалкой жизнью своей!
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!

Интересное наблюдение: непосредственно перед аффектом двойного восклицания в тексте Владимира Ильича увеличивается число слов, выделенных курсивом, а также единичных интонационных знаков; предложения все больше осложняются однородными членами.

Следующее парное восклицание находим уже на 48-й странице (что подтверждает выдвинутую выше теорию лавинообразности ленинских эксцессов):

Характерно тут только то, что, находясь в министерском обществе с кадетами, господа Черновы, Русановы, Зензиновы и прочие редакторы «Дела Народа» настолько потеряли стыд, что не стесняются публично, как о пустячке, рассказывать, не краснея, что «у них в министерствах все по-старому»!!

Недаром и мы обращаемся к «Книге Перемен». «По-старому» уже ничего никогда не будет, включая методологию науки. Что же говорит «Книга Перемен» по поводу вышеприведенного восклицания, которое соответствует третьей и четвертой линии?

По-прежнему довлеют силы тьмы. Опять требуется держаться в тени. По-этому сказано: завяжи мешок, то есть скрывай свои качества. И хотя и похвалы тебе не будет, но и опасности ты избежишь.

Создается впечатление, что «И Цзин» в данном случае обращается напрямую к Ленину или к духу Ленина. Таким образом, наш герменевтический эксперимент превратился в спиритический сеанс. Воочию предстают все эти министерства, где торжествуют силы тьмы: господа Черновы, Русановы, Зензиновы. Следующее парное восклицание Ильича гласит: «Именно: эта формула истолковывалась так, будто и для партии революционного пролетариата вопрос о религии есть частное дело!!»

Дух Ленина уже вошел с нами в контакт и глаголет осмысленно, по делу. Посмотрим, что ответит «И Цзин». Комментарий к последним чертам знака «кунь»:

Любая попытка достигнуть большего приведет к переразвитию процесса. Тьма (дракон с желтой кровью) вступит в бой со Светом (дракон с черной кровью). Прольется кровь.

Интересно было бы узнать, какого цвета она была у Ленина. Предположим, что дракон с черной кровью — это «Черная сотня». А вот что говорит Ленин:

Отряды революционной армии должны тотчас же изучить, кто, где и как составляет черные сотни, а затем не ограничиваться одной проповедью (это полезно, но этого одного мало), а выступать и вооруженной силой, избивая черносотенцев, убивая их, взрывая их штаб-квартиры и т. д. и т. д.

Черный и желтый... первое, что приходит на ум, — герб семейства Гогенштауфен. Или своеобразная «цветовая азбука» Рембо, политическая: Ленин — желтый, Сталин — красный, Дуче — черный, Гитлер — коричневый, Кодряну — зеленый (зеленорубашечники Железной гвардии), а Мао Цзэдуна уже до нас растерзал Энди Уорхол. Настало время, когда во всем этом несложно запутаться, поэтому древний комментарий к гексаграмме «кунь» заканчивается следующим режюме: «Во время действий сил Тьмы благоприятна только лишь вечная стойкость».

--
--
--

--
--
--

!!! !!!

КУНЬ

24

Можно поджечь дом или разбить голову, можно стукнуть молотком по томику Платона; можно порвать страницу и выкинуть гербарий, развеять марки по ветру, чтобы никто никогда не получал писем; очистить углы от паутины, затолкать битое стекло в крысиную нору — запросто; купить бессмыслицу на распродаже, плюнуть в телефонную трубку, разрезать паспорт, постучать пальцем по столу, посмотреть вниз, вспомнить что-то...

Они сидели в кафе «Корибант и компания» на стульях с аналоговыми терморегуляторами. Гликерия все говорила что-то. Никак не могла остановиться: «Ты пассивный и нерешительный. Ты девочка, Арсик. Ты узколобый фанатик. Артур пришел и взял все сам без спроса. Артур носит хорошие ботинки. У меня будет ребенок от Артура, крепкий малыш, розовый носик, смешная пипка, агушка белобрысый. А ты инвольтировался — тыщ! У тебя харизмы нет. Что? Не так? Ты что-то возразил? Ты вздохнул? Тогда спляши на столе, если это не так!»

То чувство, когда крутишь педали, скатываясь под горку. Он прыгнул — в тот миг она еще произносила «ак!».

— Ак! — повторила Лика от удивления.

Арсений, сминая нехорошими ботинками салфетку, выделявал ногами антраша, в голове у него звучала музыка из балета «Петрушка»². Его попросили покинуть

² Павел Мамушкин, когда мы спорили, надо ли творческой личности вести себя сдержанно, заявил, что сам автор «Петрушки» однажды плясал на столе. Я решила проверить это и выяснила, что

заведение. Марс ловко прыгнул, швырнул на стол смятые купюры и, приставив перст к ее вздорному носу, сказал: «Теперь ты пойдешь со мной, дорогуша!» Лика подала ему руку, они вышли на улицу и долго целовались под проливным дождем, вымокая слезами и каплями до тех пор, пока читатель не утонул в соплях.

— Видишь, — сказала Лика, — ты сидишь, ты уставился на салфетку, а Артур за просто бы сплясал. Все! Я пойду, прощай! Ты больше не back door man.

Спустя час, когда рыжая официантка забирала чаевые, Марсель, схватив ее за руку, сказал так: «Все существа приходят в этот мир в одиночестве. И так же его оставляют. Всю свою жизнь они одиноки в своих страданиях. В сансаре нет друзей». — «Ак!» — икнула в ответ официантка.

25

Лика болела в нем во всех падежах:

Кто? Что? Лика

Кого? Чего? Лики

Кому? Чему? Лике

Кого? Что? Лику

Кем? Чем? Ликой

О ком? О чем? О Лике

Через неделю он услышал ее голос в телефонной трубке: просила помочь дотащить чемоданы до поезда. Артур увозил ее в Москву. Сумок было очень много. И ведь надо же было попрощаться, наверняка Марсель хотел бы еще раз взглянуть на нее, не так ли?

Она срезала пейсы, потому что Артуру они не нравились, она вынула из глаз улыбчивые линзы, куда-то делась красная кофта с надписью «Жизнь прекрасна». Наблюдая, как Лика собирает вещи, Арсений дивился самому себе, ведь скорая и неминуемая пропаша этого хлама из его жизненного мира огорчала его ничуть не меньше, чем уход самой Лики. Она была всего лишь одной из милых безделушек, говорящая и чувствующая кукла, способная улыбаться одной стороной рта, выделять всякие штуки, плакать, обижаться, стонать от удовольствия, раскладывать и складывать хлам, возвышаясь над ним капризной марципановой принцессой. Арсений встретил ее пятнадцатилетним мальчиком, карманы которого были набиты пубертатным барахлом: пузырьками галлюциногенного сиропа и брусками лыжной смазки. А теперь, спустя два года, провожая на вокзал эту двадцатидвухлетнюю женщину и ее любовника, Арсений не понимал, почему до сих пор не поседел с горя, ведь на месте его пышной бахчевой любви валялась объеденная корка. С чем оставался Марсель? С пикой в сердце и протопланетной туманностью в голове. Он вынул из кармана состриженные пейсы, прижал к лицу и внюхался: «Полмира в твоих волосах, а другая половина заключалась в тебе самой, но вот ее срезали, как срезают

Стравинский писал о настольных плясках Жана Кокто: «Знает Бог, как неотразим был Жан, когда, например, за обязательным ужином после „премьеры“ он начинал танцевать на столе в ресторане». Тогда я предположила, что Павел, когда-то давно прочитав эту заметку Стравинского, затем перепутал танцоров и запомнил так, что выплясывал сам Стравинский. В ответ на мои аргументы Мамушкин сослался на некое интервью Владимира Мартынова, в котором тот якобы говорит о столовых танцах Игоря Федоровича. (Прим. Ветошницы)

черный отшибленный ноготь. Что осталось? — красное пятно, раздавшееся во весь окомое, закат над пропастью, пульсирующая жуть», — подумал Арсений и прошелся нетвердыми ногами памяти по страницам, посвященным Лике, но тотчас упал, закужившись головой, потому что хоровод событий безвольно погибал в чем-то девственно-красном. Это была первая и последняя страница, средняя и третья с середины, а также пятая и седьмая с конца и настолько цветная, что школьники могут использовать ее на уроках изобразительного искусства.

В таксомоторе словно нарочно нашлась к случаю песенка про кондуктора, который, начитавшись Пико делла Мирандолы и других гуманистов, не спешит, не выставляет провожающих вон, ведет себя не как средневековый хам, но поступает галантно, ведь лирический герой навсегда прощается с дамой. Марсель уже давно заметил, что мир стал ехидничать с некоторых пор, словно за Арсением кто-то принялся наблюдать, порой выдавая себя шутливым шорохом. Вот и Нешопенгауэр, сидевший теперь на задних сиденьях с Ликой, оказался чертовски похож на молодого Шопенгауэра. Артур и Лика смеялись над уместностью песни: «С девушкой я прощаюсь навсегда!» — дурным голосом передразнивал Артур нытье исполнителя. Даже таксист дебилно ухмылялся.

«У вас родится мальчик, но будет похож на меня», — заявил Марсель Артуру, когда тот отдавал билеты и паспорта проводнице. В ответ Артур иронично усмехнулся и сказал: «Я не верю в телегонию». Арсений удивился, что Артур знает такие слова и сделал мимический жест, отвечающий изумлению. Заметив это, Артур возжелал полюбоваться производимым эффектом и продолжил: «Это устаревшая и опровергнутая биологическая концепция». Арсений ничего не ответил, он хотел обнять на прощание Лику, но та с улыбкой отстранилась: не надо. Слезы навернулись Арсению на глаза, когда Гликерия, быстро махнув рукой в окошко, отвернулась и деловито заговорила о чем-то с Артуром; потом она и вовсе исчезла в недрах вагона. Артур послал Марселю воздушный поцелуй сквозь стекло, поезд тронулся и вежливо удалился. Арсений минуты две глядел вслед составу. По платформе брел гражданин в желтом жилете, влача тюк с ерундой. Марсель подошел к нему и сказал, положив ему руку на плечо: «В сансаре нет друзей». Ерундист не нашелся ответить. Затем, нащупав в кармане жука-самурая с клешней краба, Марс отломил ему голову, и тотчас в своей постели под щебет канареек умер Костыль.

Марсель пошел дальше — в город — за вермутом — за сигаретами — ибо все было кончено, ведь как только соблазн покинул его, Марс осознал никчемность своих монашеских потуг: он хочет жить, видеть, испытывать. Он понял вдруг, что сам себе лгал, что желает быть живым, живым и только, понял как раз тогда, когда жизнь уехала от него в плацкартном вагоне. Придется все начать сначала! «Жить, заблуждаться, падать, торжествовать, воссоздавать жизнь из жизни», — вспомнил Марсель фразу не прочитанного им романа, напившись уже из горла густого вермута. Грустный солнечный сентябрь, словно песенка школьника, пыльно сверкал; шеголеватые первоклашки восторженно бежали навстречу грядущему, как мыши из русского языка. «Вот кровь-то молодая!» — подумал старый, семнадцатилетний Марсель вслед девчачьему банту. словно губы в вермут, Арс окунул себя в этот проспект — вполне шизофреническую улицу с двойным названием: Большая Дворянская/проспект Революции. Навстречу Марсу двигались сумки да мешки — с Ветошницей в середине, со злобной старушенцией. Марсель подошел к ней, положил руку на ветхое плечо и сказал так: «Все существа приходят в этот мир в одиночестве. И так же его оставляют». Старуха ничего не ответила, но высунула черный язык.

26

Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить.

Мог ли знать Марсель, что я, автор этих строк, теперь сидящий здесь, в крымской степи на взморье, ехала тем же вагоном (на боковой полке возле туалета) и, более того, тем же поездом? Не мог. А ведь было именно так: я стремилась в Москву, чтобы отчекрыжить и присобачить. А беззаботная Лика читала тошнотворного Сартра и причмокивала от удовольствия, не обращая внимания на соседей. Артур напился уже пива и спал беспробудно, как мертвый. Но вскоре, отвлекшись от книжки, Гликерия заметила меня. Потому что я выглядела блестяще: на присвоенные денежки папика я купила добротную твидовую тройку, вдобавок подстриглась под лондонского джентльмена и аккуратно подрисовала себе тонкие усики таблеткой активированного угля. Сияя лакировкой новеньких оксфордов, я распивала бутылку «Jack Daniel's» в компании щетинистого газосварщика. Лика не могла оторвать глаз от меня — все глядела и глядела, так что вскоре мне стало неловко и я предложила ей составить нам компанию. Быстро опьянев, эта *femme fatale* принялась травить такие пошлые анекдоты про своего бывшего парня, что соседствующие тетеньки смущенно попрятались в кроссворды; мне захотелось проучить чертовку. И вскоре нашлась такая возможность: ибо Лика в скором времени так набралась, что потащила меня в туалет, где стала раздевать. Я не сопротивлялась, внутренне смеясь и ликуя. Дорога появляется, если ее протаптывают люди; одна молния не делает грозы, другая не дает повода; что касается меня, то никогда раньше я не видела такого ошеломленного лица! Сидя на корточках, она глядела снизу вверх, ничего не понимая; из туалетной дырки несло сентябрьской свежестью, дождик плакал в приоткрытое окошко, бумага закончилась. Я погладила Лику по голове, не стесняясь аллитераций, и, приподняв ее личико за подбородок, тихо молвила: «Поедешь на завод Михельсона, дура ушастая!»

27

Подходит к концу время этого романа, приближается «магическая дата», когда поросенок уступит место крысенку. Но не спешите выдыхать с облегчением, не спешите отворачиваться, ведь чаще спотыкается тот, кто всегда смотрит вперед. Может быть, вы думаете, что современность — это белая комната с экраном? Или идеально гладкие поверхности? Или выбритые гениталии, увеличенные до размеров Везувия? Но ведь все эти ваши зеркальные дома, розовые пятки, идеально ровные пузырьки воздуха в трубке капельницы, точная геометрия фракталов — все это тоже потрескается и покроется мхом, пылью, плесенью, патинной, корой и коростой. Поэтому вам, гладким и четким, одномерным и выверенным, не одержать победу: вы тоже будете процветать могильным вереском, анютиными глазками погостов, вы обветшаете, обморщитесь, пойдете рябью, а кожа ваша станет гусиной. Мы — служители надреза, шва, изнанки — выбираем не сердце, но аппендикс! — и подкидываем камешки в ваши ботинки, заставляем перечитывать страницы, спотыкая героя и выморачивая героиню: они не полюбят друг друга и даже не сыграют в вист, но смастерят стеклянную игрушку из вашей дрессированной псыны, а затем опрокинут елочку.

Марсель зашел в квартиру и тотчас предстал, горемычный, перед самим собой, а ведь Линь сто раз просил подальше убрать отражение от входной двери: не фен-шуй. Из маминой комнаты доносились хрипы. «Снова затеяла спектакль», — подумал Арс. Войдя в комнату, он увидел, что мама пускает изо рта алую пену, лужа слюны и рвоты скопилась возле кровати. В луже Марсель заметил кусочки непереварившихся сарделек. Чтобы подтвердить наблюдение, Марс проверил холодильник: и впрямь — сардельки. Хрипы возобновились. Марсель вернулся в комнату. На этот раз он заприметил два порожних пузырька настойки боярышника, они стояли на журнальном столике возле тома «Говорливых берегов» Владимира Владимировича. «Ты не переигрываешь ли?» — спросил Арсений, когда мама закатила глаза и стала бессмысленно перебирать в воздухе скрюченными пальцами. «Хватит уже ломать комедию!» — раздражился Марс и положил маме на лицо подушку, а другой прикрыл зловонную лужу. Вдруг стало спокойно, тихо и благообразно. Марсель решил прогуляться, тем более что погода была отличная, в розовом небе резвились неугомонные стрижи, деревья занимались фотосинтезом.

Ноги несли его на север, в сторону пустыря, по направлению Иглы. Он вошел в пыльную тишину бетонного запустения, благодного, меланхоличного. Никого здесь не было: мусорные мальчики вымерли, нацисты и сатанисты стали таксистами, бездомные старики превратились в жухлую ветошь, развеялись, ушли к чертовой бабушке, а вот и она сама, кстати говоря. Из дырки в полу сначала вылетели сумки, затем сохлые руки уцепились за края, нога в драном фиолетовом чулке вскарабкалась. И вот вся Ветошница вылезла наконец и со словами «Не просто душить, а живьем!!» бросилась на Марселя.

— Не просто душить, а живьем! — завопила старуха.

Бессмысленно улыбаясь и кивая головой, она стала приближаться к Арсению. Он попятился назад и чуть было не угодил ногой в широкую щель. Ветошница порылась в первой сумке, вытащила птицу и выпустила ее в Марселя. Из второй сумки старуха достала пригоршню песка и сдула ее с ладони в Арсения. Из третьей сумки она достала бумажный кораблик, и тот полетел самолетиком, скомкался в воздухе и разбился снежком у Марса под сердцем. Из четвертой сумки Ветошница достала зеркальце и стала слепить Арсения солнечным зайчиком, смеясь. Арс отступал. Из пятой сумки старуха достала водный пистолет и выстрелила в Марселя струей томатного сока. Она сдернула грязную косынку и махом головы распустила волосы: те стали седым дыбом, щекоча железную трубу под потолком, словно намагниченные. Марсель побежал от Ветошницы вверх, миновал десятый этаж, успев заметить, что пол здесь особенно густо занесло песком; стал спускаться по второй лестнице, но старуха опередила его и теперь стояла на пути, подбоченившись.

— Ах вот ты где, поросенок! А ну марш на блокпост! — воскликнула Ветошница.

Марсель поднял кирпич и запустил им в старуху, но тот разбился об нее, раскрошился, как пирожное «Мадлен». Ветошница усмехнулась и согнула руку, как бы в шутку демонстрируя мускул. Потом она залилась визгливым смехом, поднесла большой палец ко рту и сделала неприличный жест, одновременно давя языком в щеку, как если бы у нее что-то не помещалось во рту. Затем она еще раз взвизгнула и стала быстро дергать обвислую кожу на шее, выпятив губы трубочкой. Она дергала все быстрее, пока с губ не потекла слюна, похожая на яичный желток. Ветошница плюнула в Марселя и попала ему в глаз — тот перестал видеть. Марсель бросился бежать, но споткнулся. Ветошница порылась в сумке и достала пачку сигарет «Иакофф». Закурив, она запела грустным маминым голосом:

Ми-и-иленький ты мо-ой,
 Возьми-и меня с собо-ой,
 Там, в кра-аю да-алеком,
 Буду тебе сестрой.

Потом Ветошница закрыла рот, но мамин голос продолжал звучать — из радиоприемника: старуха уже вытащила его и поставила на ступеньку с черной свастикой. Затем вынула подушку и стала душить приемник. Марсель отвернулся и побежал прочь, но все равно услышал его хрипы.

Нина висела над пропастью: одной рукой она держалась за мост Самоубийц, а другой, опустошая карманы коротких шортиков, рассеивала маковые семена. Марсель бросился к ней, протянул руку и ухватил ее за... но сестра оскалилась тыквой Хеллоуина и превратилась в стопудовую гирию, которая повлекла Марселя в бездну. Перевернувшись в полете, он заметил огромную пасть Ветошницы и растянутый метровым дуплом зев. Арсений низвергся в кратер Иглы. Подвижные панели проходили сквозь него, поднимаясь и опускаясь, — сквозь него, как сквозь водопад, проходили призраки мусорных мальчиков и злые крысы. Нина висела над пропастью: одной рукой она держалась за мост Самоубийц, а другой, опустошая карманы коротких шортиков, рассеивала семена держидерева. Марсель подбежал к ней и ухватил ее за... но сестра оскалилась тыквой Хеллоуина и превратилась в стопудовую гирию, которая повлекла Марселя в пропасть. Арсений низвергся в кратер Иглы. «В горня! В горня!» — шептал Марсель, падая долу. «В горня! В горня! В лоно Авраамово!» — голосила Ветошница, вперив в падающего безумно выпученные глаза.

Марсель падал, а Ветошница швыряла следом рухлядь, отходы и всевозможный скарб сущего: отравленную заварку, оловянных солдатиков, пластмассовых мутантов, прессованные блины китайского чая, арбузные корки, вырванные с мясом пейсы, зеленые подтяжки, алые восьмиклинки, пузырьки сиропа, бруски лыжной смазки, расхристанный томик Джойса, изодранный альбом Босха, столетние яйца, яйца *туңзыдань*; Ветошница бросила пригоршню прозрачных червячков, две катаракты, три стеклянных глаза, горсть ядовитых гусениц, сотню шприцевых колпачков, красное полотенце, прекрасную жизнь, пачку открыток с акварелями Волошина, пачку сигарет; Ветошница высыпала коробку запятых, коробку восклицательных и вопросительных знаков, набор кириллических шрифтов, дохлую ворону; бросила в пропасть несколько лет чей-то жизни, Ветошница потрясла нотную тетрадь, и не написанная еще «Красота» Настасьи Хрущевой осыпалась нотами вслед Марселю, восклицая на лету: «Тихо и по одному исчезаем мы во мглу. Страшно даже самому. У-у-у-у!!», за музыкальной композицией последовали чьи-то пастиши, «Говорливые берега» Набокова; VHS-кассета со «Сталкером» Тарковского размотала свою ленту, и та медленно поплыла вниз вычурным фракталом; затем Ветошница вытряхнула длинное покрывало, грамм гашиша, букет пионов, полкило сливочного масла, кирпич, крысиные кишки, кусок поребрика, дырку мусоропровода, женскую туфлю тридцать шестого размера, кровоточащий нос; десять отсеченных фаллосов, извергая семя, полетели вниз, за ними последовал похотник; полетели разномастные хрипы, стоны и коллекция зажигалок, учебники, тетради, баллоны с краской, ваджры, партитуры, мольберты, выблеванные сардельки, бейсбольные биты, беззастенчивые заимствования, жеванные жвачки, записки, красные и зеленые мячики, сотни фишек, тысячи наклеек, армия солдатиков; Ветошница вытряхнула диалоги, иллюстрации, семена держидерева, колоб на палочке, портрет Вейсгаупта, лингам, русско-украинский словарь, черепа, улыбки, пластинки, собаку Цзя, зародыш,

ВИЧ-инфекцию, усы Юденича, крест Деникина, плетку, сапожищи; следом полетели вычурность с претенциозностью, а за ними тупость читателя и его сонная одурь с пятирицей небольших грешков, как то: зевки, страничные загибы, пятна кофея, листания и забывания; старуха вывернула панегирики литературных критиков, вслед полетел пузырек со слюною злопыхателей — вот этот перечень вещей, сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, пронумерованный и заложенный в учебник логики, полетел вниз, посыпались конъюнкции, дизъюнкции, лента Мёбиуса, материя, форма, энергия, дюнамис и энтелехия; принцип индивидуации — манерный содомит — выпал изящно; априорные формы чувственного опыта, промаргиваясь спросонья, выпорхнули из сумы, а за ними — свет разума и ножка стула в обнимку с пристыжным фаллосом; в шахту низверглись: прямая кишка, рамена, ботфорты, улыбочивые контактные линзы; полился чай, выплеснулся чифирь, вырызнулись все три логоса; затем полетела раздробленная пятка, буханка, иероглифический «Капитал», Мартышкины груди, груди красавицы Ли, сумерки, ведро, красная фольга, нарисованная улитка; синий попугайчик, выпорхнув изо рта Ветошницы, устремился вниз. Что полетело за ним?

Сорок за ним кораблей, под дружиною, черных примчалось.
В Аргиссе живших мужей и кругом населявших Гиртону,
Орфу, широкий Элон, белокаменный град Олооссон, —
Сих предводил Полипет, воеватель бесстрашнейший в битвах,
Ветвь Пирифоя, исшедшего в мир от бессмертного Зевса,
Сын, Пирифою рожденный, женой Ипподамией славной,
В самый тот день, как герой покарал чудовищ косматых:
Сбил с Пелиона кентавров и гнал до народов эфиков.

Сандалия с раздавленной гусеницей на подошве упала на лицо Марселю тяжелым кирпичом, проломила переносицу и череп, красным цветком пронзила мозг. Исхудали сумки Ветошницы, ничего там не осталось, но старуха достала из-за пазухи потайной узелок, развязала и потрясла: в шахту полетела тень дельтапланериста — приближаясь к земле, тень чернеет, сужается, и вот Марсель Арсений Марсик Арсик Марс и вся ветошь мира повергают автора, когда тот, Аким-Простота, заканчивает роман.

К О Н Е Ц

О семантическом пантеизме: символ веры вместо послесловия

Текст есмь Альфа и Омега, он творец всего видимого и невидимого, им же вся быша. Нельзя взглянуть на слово родного языка так, чтобы тотчас не прочитать его: слово само зазвучит в сознании, сопротивляться этому невозможно. В здравом уме не получится смотреть на слово как на китайский иероглиф. Более того, такие части семиотического океана, как, например, созданный природой в скале профиль Максимилиана Волошина, немногим отличаются от письменной речи.

И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой —

судьба, ветер или вулканическая лава, выплюнутая из недр в мезозойскую эру юрского периода, равно причастились единому тексту-творцу, вне которого всего этого просто не существует. Только язык делает ветер ветром, судьбу судьбой, а научные открытия научными. И если Деррида, Кант и все иудеи утверждают, что нельзя спастись бегством из семиотической = мировой = категориальной тюрьмы, то буддисты и гностики призывают к этому бегству и пытаются радикально деконструировать Текст и его архонтов. Наивный ум задается вопросом, есть ли здесь мистика и что первично, скала или поэт Волошин, но семиотический гностик-пантеист знает, что все это досужие разговоры. Суть не в том, чтобы познать первичное, но в том, чтобы осознать все как текст, а потом выйти за его пределы — к сиянию иного Бога, стоящего за пределами Текста. Удивительно, что смерть не дает нам такой возможности: смерть — только лишь часть текста. Вспомним последнюю сцену «Безумного Пьеро» Годара: смерть — это ряд цветовых эффектов, ряд жестов, и в конце концов смерть становится частью настроения, которое всегда есть только тень какого-то текста. Ведь настроения не принадлежат кому-то, они переживают сами себя в безмерном пространстве космического текста. Нам не поможет и тишина, 4:33 нам не поможет, потому что тишина — это только пробел между знаками. Бог есть заглавие, Адам — буква, боль — восклицательный знак, судьба — вопросительный, душа — это разлинованная белая страница с чернильной кляксой в форме гусеницы, опьянение — ряд скользящих аллитераций, а секс — всего лишь ритмизация повседневной прозы.